

## КОМНАТА ДЖОВАННИ

Перевод с английского Александра Радашкевича (Париж)<sup>1</sup>

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Помню, что жизнь в этой комнате проходила, казалось, под водой; время безучастно проплывало над нами, часы и дни не имели никакого значения. Поначалу наша совместная жизнь была наполнена радостью и изумлением, приносимыми каждым новым днём. Под радостью, конечно, таилась боль, а под изумлением – страх, но эта подоплёка не определяла начала нашей истории до тех пор, пока это начало было у нас, как алоэ на языке. Позднее боль и страх стали той поверхностью, на которой мы спали и по которой скользили, теряя равновесие, гордость и уважение к себе. Лицо Джованни, напоминавшее мне столько утр, полдней и ночей, каменело у меня на глазах, начиная выдавать свои секреты и давать трещины. Свет в его глазах сменился блеском, а под широкими прекрасными бровями начал угадываться череп. Чувственные губы поджались, сдерживая изливаемое сердцем горе. Лицо его стало чужим, – либо мне самому, глядя на него, хотелось, чтобы оно стало лицом незнакомца. И всё запомненное не подготовило меня к такой метаморфозе, вызванной самим этим запоминанием.

Наш день начинался до рассвета; я приплетался в бар Гийома перед самым закрытием, когда опрокидывают последний стаканчик. Иногда, когда Гийом уже закрывал бар для публики, несколько приятелей и мы с Джованни оставались позавтракать и послушать музыку. Иногда там бывал и Жак; со времени нашей с Джованни встречи он появлялся всё чаще и чаще. Если мы завтракали с Гийомом, то обычно уходили часов в семь утра. Иногда Жак предлагал подвезти нас домой на машине, которую он ни с того ни с сего неожиданно купил, но чаще всего мы проходили пешком весь долгий путь вдоль Сены.

К Парижу приближалась весна. Блуждая в эту ночь по пустому дому, я снова вижу эту реку, её булыжные quais<sup>2</sup> и мосты. Низкие баржи проходили под этими мостами, и порой на них можно было увидеть женщин, развешивающих бельё. Иногда попадался молодой гребец на байдарке, энергично работающий вёслами и выглядевший как-то беспомощно и даже глупо. Мы проходили над пришвартованными к набережным яхтам, приспособленными под жильё катерами и баржами, и столько раз миновали по дороге домой пожарную станцию, что пожарники стали нас узнавать в лицо. А потом, когда пришла зима и Джованни был вынужден прятаться на одной из этих барж, именно пожарник, заметив ночью, как он пробирается в своё убежище с буханкой хлеба подмышкой, донёс на него в полицию.

Но в те утра деревья только одевались в раннюю зелень, вода спала, коричневая зимняя дымка ушла вниз по реке и появились первые рыболовы. Джованни

<sup>1</sup> Окончание. Начало см. во 2-й книге журнала.

<sup>2</sup> Набережные (фр.)

был прав на их счёт: они, разумеется, ничего и не старались поймать, но это занятие помогало им убить время. Вдоль quais лавки букинистов словно готовились к празднику, ожидая погоды, которая наконец позволит прохожим нехотя листать одну за другой книги, с оттопыренными, как собачьи уши, углами, а также внушит туристам пламенное желание увезти в Штаты или в Данию такое количество раскрашенных гравюр, что, вернувшись домой, они не будут знать, что с ними делать. А ещё появились девушки на велосипедах, сопровождаемые на том же средстве передвижения молодыми людьми. Порой мы наблюдали, как они устраивались вдоль реки на закате, отложив свои велосипеды до утра. Это было после того, как Джованни потерял работу, и мы слонялись по вечерам. Это были горькие вечера. Джованни знал, что я собираюсь уйти от него, но не осмеливался упрекнуть меня из страха, что это подтвердится. А я всё не мог набраться смелости и сказать ему. Хелла должна была вот-вот вернуться из Испании, а отец согласился прислать мне денег, которые я не собирался тратить на Джованни, хотя сам он так много мне помогал. На эти деньги я собирался бежать из его комнаты.

Каждое утро казалось, что небо и солнце становятся всё выше, а река вытягивается на глазах, покрываясь густеющей дымкой надежды. Каждый день у букинистов что-то, по всей видимости, убавлялось из одежды, и их силуэты претерпевали самые неожиданные и непрерывные изменения. Можно было лишь гадать, какие пропорции они примут в конце концов. По открытым окнам на quais и в боковых улочках было заметно, что hoteliers<sup>3</sup> вызвали маляров освежить стены номеров, молочницы в лавках сняли свои синие свитера и засучили рукава, обнажив мощные руки; хлеб в булочных казался ещё теплее и свежее. Маленькие школьники оставили дома свои пелерины, и колени у них уже не синели от холода. Слышалось больше болтовни – на этом странным образом упорядоченном и в то же время бурлящем языке, напоминающем мне то сваренный вкрутую яичный белок, то струнные инструменты, но всегда – изнанку и следы страсти.

Мы не так часто завтракали в баре после закрытия, потому что Гийом не любил меня. Обычно я просто ждал неподалёку, пока Джованни приведёт всё в порядок и переоденется, стараясь, чтобы меня не заметили. Потом мы говорили «спокойной ночи» всем и уходили. У завсегдатаев бара сложилось любопытное отношение к нам, состоящее из неприятной покровительственности, зависти и скрытой неприязни. По какой-то причине они не могли говорить с нами так, как разговаривали между собой, и их возмущала необходимость общаться как-то иначе. Их сводило с ума то, что смертельно важный центр всех их жизненных интересов в данном случае не имел к ним ровно никакого отношения. Это возвращало их к собственному ничтожеству, несмотря на весь дурман болтовни, мечты о сердечных победах и даже взаимное презрение.

Где бы мы ни завтракали и где бы ни гуляли, но, вернувшись домой, были всегда слишком разбиты, чтобы сразу заснуть. Мы ставили кофе и иногда пили его с коньяком, сидели на кровати, разговаривали и курили. Казалось, что нам нужно многое высказать, особенно – Джованни. Даже в моменты полного чистосердечия, даже когда я пытался изо всех сил отдать ему себя так, как он отдавал всего себя мне, даже тогда я что-то от него утаивал. Например, я сказал ему о Хелле по-настоящему лишь через месяц после нашего переезда в комнату. И сказал о ней только тогда, когда из её писем стало ясно, что со дня на день она должна появиться в Париже.

- Чем она занимается, колеся одна по Испании? – спросил Джованни.
- Она любит путешествовать, – ответил я.
- Да? Никто не любит путешествовать, а особенно женщины. Должна быть какая-то другая причина, – сказал он, многозначительно подняв брови. – Может,

<sup>3</sup> Владельцы отелей (фр.)

у неё любовник испанец и она боится тебе сказать?.. Может, она с каким-нибудь *torero*<sup>4</sup>?

«Возможно, так оно и есть», – подумал я.

– Она не побоялась бы мне об этом сказать.

Джованни рассмеялся:

– Я совершенно не понимаю американцев.

– Не вижу тут ничего такого, что трудно понять. Мы ведь, знаешь, не женаты.

– Но ведь она твоя любовница, да?

– Да.

– И она всё ещё остаётся твоей любовницей?

Я посмотрел на него с удивлением.

– Конечно.

– Тогда я не понимаю, – сказал Джованни, – что она делает в Испании, когда ты в Париже.

Вдруг его осенила какая-то мысль:

– А сколько ей лет?

– Она на два года моложе меня, – ответил я, изучая его реакцию. – Какое это имеет значение?

– Она замужем? Я имею в виду за кем-то другим, разумеется.

Я рассмеялся, он тоже.

– Нет, конечно.

– Я подумал, что она, может быть, в годах, что у неё есть где-то муж и что ей надо время от времени возвращаться к нему, чтобы оставаться с тобой. Это было бы хорошим выходом из положения. Такие женщины бывают *очень* заняты, и у них обычно водятся деньжата. Если бы *такая* женщина находилась сейчас в Испании, она бы привезла тебе роскошный подарок. Но девушка, слоняющаяся одна по чужой стране... Это мне совсем не нравится. Ты должен найти себе другую любовницу.

Всё это было очень забавно, и я смеялся не переставая.

– А у *тебя-то* есть любовница? – спросил я его.

– Сейчас нет, но, возможно, снова появится когда-нибудь, – ответил он полусердито-полуулыбчиво. В настоящий момент женщины как-то мало меня занимают – не знаю почему. Раньше было не так. Может, всё и вернётся.

Он пожал плечами.

– Наверно, потому, что женщины это та проблема, на которую у меня нет сейчас сил. *Et puis*<sup>5</sup>...

Он умолк.

Мне хотелось сказать, что он выбрал наиболее необычный выход из положения, но я лишь заметил осторожно, немного помолчав:

– Ты, кажется, не очень высокого мнения о женщинах?

– О, женщины! Слава богу, нет никакой нужды иметь мнение о *женщинах*. Женщины подобны воде. Они прекрасно могут искушать, так же как предавать; могут быть такими, знаешь ли, бездонными, и такими поверхностными. И такими грязными.

Он помолчал.

– Возможно, я не очень люблю женщин, это правда. Но это не помешало мне переспать со многими и влюбиться в одну или двух. Но в большинстве случаев, почти всегда в этом участвовало с моей стороны лишь тело.

– От этого можно почувствовать себя очень одиноко, – сказал я, сам того не ожидая.

<sup>4</sup> Тореадором (исп.)

<sup>5</sup> И потом... (фр.)

А он не ожидал этого услышать. Он взглянул на меня, протянул руку и коснулся моей щеки.

– Именно так, – сказал он, и добавил: – Я не стараюсь быть méchant<sup>6</sup>, когда говорю о женщинах. Я уважаю их – и очень – за их внутреннюю жизнь, не схожую с тем, что происходит в мужчине.

– Но ведь женщины, кажется, не в восторге от этой идеи, – сказал я.

– Знаешь, – откликнулся Джованни, – эти женщины носятся сегодня повсюду, полные идей и всякого вздора, веря, что они во всём равны мужчине. Quelle rigolade!<sup>7</sup> Их нужно отдубасить до полусмерти, чтобы до них дошло, кто правит миром.

Я расхохотался.

– Значит, женщины, которых ты знал, любили хорошие побои?

Он улыбнулся.

– Любили, не любили – не знаю. Но побои никогда не заставляют их уйти.

Мы оба расхохотались.

– Во всяком случае они не были такими, как твоя полоумная девица, носящаяся по всей Испании и шлющая открытки в Париж. Чем у неё голова набита? Хочет она тебя или не хочет?

– Она отправилась в Испанию, чтобы это понять.

Джованни широко раскрыл глаза. Он был возмущён.

– В Испанию! А почему не в Китай? Чем она занимается? Решила перепробовать всех испанцев, чтобы сравнить с тобой?

Я начал злиться.

– Ты не понимаешь. Это очень интеллигентная, очень непростая девушка. Ей захотелось уехать куда-то и поразмышлять.

– О чём же она размышляет? Выглядит всё это довольно глупо, должен сказать. Она просто не может решить, в какую постель ей лучше лечь. Она хочет и рыбку съесть, и...

– Если бы она сейчас была в Париже, – сказал я резко, – меня бы уже не было здесь с тобой, в этой комнате.

– Ты бы уже не жил здесь, – уступил он, – но мы бы продолжали встречаться, почему бы и нет.

– Как это «почему бы и нет»? А если она узнает?

– «Узнает»? Что узнает?

– Брось, пожалуйста, – сказал я. – Ты прекрасно знаешь, что она может узнать. Он мрачно взглянул на меня.

– Она кажется мне всё более невыносимой, эта твоя девица. Она что – будет преследовать тебя повсюду? Наймёт сыщиков спать под нашей кроватью? И какое ей, в конце концов, до всего этого дело?

– Ты не можешь так думать всерьёз.

– Конечно, могу, – вспыхнул он. – И думаю. Это тебя невозможно понять.

Он тяжело вздохнул, подлил ещё кофе и взял бутылку коньяка с пола.

– Chez toi<sup>8</sup> всё слишком судорожно и запутанно, как в британском детективе с убийством. Заладил себе «узнает, узнает», будто мы соучастники какого-то преступления. А мы не совершили никакого преступления.

Он подлил коньяка.

– Ей просто будет очень больно, если она об этом узнает. Вот и всё. Люди пользуются очень грязными словами насчёт... насчёт таких вещей.

Я замолчал. И понял по его лицу, что моё объяснение прозвучало неубедительно. Тогда я добавил в свою защиту:

---

<sup>6</sup> Злым (фр.)

<sup>7</sup> Какая чепуха! (фр.)

<sup>8</sup> У тебя (фр.)

– Кроме того, это считается преступлением в нашей стране. А ведь я вырос всё-таки не здесь, а там.

– Если тебя пугают грязные слова, то я не понимаю, как ты ещё жив. Люди полны грязных слов. Они не пользуются ими только тогда (я имею в виду большинство), когда описывают что-то грязное.

Он замолчал, и мы посмотрели друг на друга. В противоположность тону произносимых им слов было видно, что ему страшно.

– Если твои сограждане считают, что частная жизнь это преступление, тем хуже для вашей страны. Что касается этой девушки – разве ты всегда держишься за её юбку, когда она здесь? Я хочу сказать – целый день и каждый день? Тебе случается пойти куда-нибудь выпить одному или нет? Может быть, ты гуляешь иногда без неё, чтобы поразмышлять, как ты говоришь? Американцы, похоже, очень любят размышлять. И не может ли быть, что пока ты размышляешь или стоишь со стаканчиком, ты заметишь другую проходящую мимо девушку, а? Может случиться, что ты просто посмотришь на небо и почувствуешь, как в тебе гуляет кровь? Или всё останавливается с появлением Хеллы? Ни стаканчика в одиночестве, ни взгляда на девушек, ни неба? А? Что скажешь?

– Я уже сказал тебе, что мы не женаты. Но, кажется, сегодня утром ты ничего не в состоянии понять.

– Так или иначе, когда Хелла здесь, встречаешься ли ты с кем-нибудь без неё?

– Конечно.

– Заставляет ли она тебя рассказывать всё, что ты делаешь без неё?

Я вздохнул. Перестав уже следить за нитью разговора, я просто хотел, чтобы это побыстрее кончилось. Я пил коньяк слишком быстро, и у меня жгло в горле.

– Нет, конечно.

– Хорошо. Ты симпатичный, очень милый и воспитанный парень, поэтому (если только ты не импотент) я не понимаю, на что она может жаловаться и о чём тебе беспокоиться. Организовать, *mon cher, la vie pratique*<sup>9</sup> очень просто – надо только постараться.

Он задумался.

– Иногда не всё клеится, согласен. Но можно устроить как-то по-другому. Это не английская мелодрама, которую ты из всего делаешь. Не надо: жизнь станет просто невыносимой.

Он подлил коньяка и улыбнулся мне так, будто уже разрешил все мои проблемы. И в этой улыбке было что-то настолько безыскусное, что я невольно ответил ему улыбкой. Джованни нравилось считать себя человеком практичным, а меня нет, и учить меня непреложным истинам жизни. Для него было очень важно верить в это: в глубине души он не мог не понимать, что я беспомощно, и тоже в самой глубине души, сопротивляюсь ему изо всех сил.

Понемногу мы успокоились, умолкли и заснули. Проснулись около трёх или четырёх часов, когда тусклое солнце заглянуло в странные углы этой захламленной комнаты. Встали, умылись и побрились, толкая друг друга, обмениваясь шуточками и сгорая от невысказанного желания поскорее убраться из этой комнаты. Потом мы выскользнули на улицу, в Париж, наспех где-то перекусили, и я расстался с Джованни у дверей бара Гийома.

Потом, оставшись один и испытывая от этого облегчение, мог пойти в кино, гулять или вернуться домой и читать, или же устроиться с книгой на скамейке парка, посидеть за столиком перед кафе, поболтать с кем-нибудь или сесть писать письма. Я писал Хелле, ни о чём ей не рассказывая, или отцу, прося его прислать денег. Вне зависимости от того, что я делал, другой человек пробуждался в моей шкуре, до смерти напуганный тем, что творилось в его жизни.

<sup>9</sup> Мой милый, жизнь практична (фр.)

Джованни вызвал во мне какой-то зуд, растеребил нечто, что грызло меня изнутри. Я осознал это для себя как-то днём, провожая его на работу по бульвару Монпарнас. Мы купили килограмм черешни и ели её по дороге. Вели мы себя в тот день откровенно ребячливо и были в отличном настроении, но зрелище, которое мы собой представляли (взрослые люди, толкающие друг друга на широком тротуаре и плюющие друг другу в лицо черешневыми косточками), должно было быть вызывающим. Я понимал, что подобное мальчишество – это фантастика в моём возрасте, но ещё фантастичнее было то счастье, из которого оно выплеснулось. За это я действительно любил Джованни, который, казалось, никогда ещё не был так красив, как в тот день. Вглядываясь в его лицо, я ощущал, как много для меня значило, что я могу его сделать таким сияющим. Я знал, что многое готов отдать, чтобы не потерять эту власть. Я почувствовал, что устремляюсь к нему всем своим существом, как несётся ломающая лёд река. Но в этот самый момент между нами прошёл по тротуару незнакомый парень, и всё, что я испытывал по отношению к красоте Джованни, я тут же испытал и к нему. Джованни увидел это, прочёл на моём лице, и это ещё больше его рассмешило. Я покраснел, а он продолжал заливаться смехом, и тогда этот бульвар, свет дня и его хохот превратили происходящее в настоящий кошмар. Я уставился на деревья, листья, сквозь которые пробивались солнечные лучи. Мне стало грустно, стыдно, страшно и горько. Но в то же время (это было частью моей муки и одновременно не касалось её) я почувствовал, как у меня напрягаются мышцы шеи, чтобы не оглянуться и не посмотреть вслед удалявшемуся вдоль блестящего бульвара парню. Чудовище, которое пробудил во мне Джованни, теперь уже никогда не уснёт. Но ведь когда-нибудь Джованни уже не будет со мной. Стану ли я тогда, как некоторые, оглядываться и бежать за каждым смазливим парнем вдоль бог знает каких тёмных авеню, заводящих в какие-то тёмные места?

Это жуткое предположение родило во мне ненависть к Джованни – такую же глубокую, как моя любовь к нему, и питаемую теми же корнями.

## 2

Не могу придумать, как описать эту комнату. В каком-то смысле все комнаты, в которых мне приходилось когда-либо бывать, и все, в которых ещё придётся, будут напоминать мне комнату Джованни. Я не прожил в ней так уж долго, – мы встретились перед самой весной, а летом я ушёл оттуда, – но мне всё равно кажется, что я провёл там целую жизнь. Жизнь в этой комнате, казалось, происходила под водой, и, несомненно, я претерпел там какие-то подводные видоизменения.

Для начала скажу, что комната была слишком мала для двоих и выходила окнами в маленький внутренний двор. «Выходила» означает, что там было два окна, на которые этот двор недоброжелательно напирал, проникая к нам день за днём всё глубже, как будто принимая себя за джунгли. Мы – или, вернее, Джованни – держали окна почти всегда закрытыми. У него никогда не было штор, не появились они и при мне. Чтобы оградиться от нескромных взглядов, он густо замазал стёкла белой пастой для чистки эмали. Иногда к нам доносились голоса играющих под окнами детей, иногда на них вырисовывались странные силуэты. В такие минуты Джованни, занимаясь чем-то в комнате или лёжа на кровати, напрягался, как охотничья собака, и хранил полное молчание до тех пор, пока нечто, угрожающее нашей безопасности, не удалялось прочь.

Он всегда был полон грандиозных планов ремонта комнаты и уже принялся за него до моего появления там. Одна из стен была грязной, с белыми пятнами на тех местах, где он содрал обои. Стену напротив никогда не следовало обнажать: дама в платье с кринолином и господин в бриджах непрерывно прогуливались

на ней, окаймлённые розами. Обои большими отрезками и в рулонах лежали в пыли на полу. На полу же валялись наши нестиранные вещи рядом с инструментами Джованни, кистями, банками с краской и бутылками со скипидаром. Наши чемоданы еле держались на горе какого-то хлама, так что мы всегда опасались их открывать и иногда по несколько дней обходились без таких необходимых мелочей, как чистые носки.

Никто никогда к нам не приходил, кроме Жака, да и тот бывал нечасто. Мы жили далеко от центра, и у нас не было телефона.

Помню, как я впервые проснулся там после полудня рядом с Джованни, быстро уснувшим и тяжёлым, как упавшая скала. Свет проникал в комнату так слабо, что я с беспокойством подумал о времени. Потихоньку, чтобы не разбудить Джованни, я закурил сигарету. Я ещё не знал, как посмотрю ему в глаза. Я осмотрелся. Джованни что-то говорил в такси о том, что в комнате очень грязно. «Не сомневаюсь», – откликнулся я и отвернулся к окну. Потом мы ехали молча. Когда я проснулся в его комнате, то вспомнил, что это молчание носило напряжённый и болезненный характер. Оно было прервано робкой и горькой улыбкой Джованни, сказавшего: «Я должен найти какой-то поэтический образ».

И он растопырил свои сильные пальцы в воздухе так, будто хотел поймать метафору. Я наблюдал за ним.

– Посмотри на этот мусор, – сказал он наконец и указал пальцем на проплывающую мимо улицу, – весь мусор этого города. Куда они всё это девают? Точно не знаю куда, но вполне возможно, что сваливают в мою комнату.

– Более вероятно, – ответил я, – что сбрасывают в Сену.

Но когда я проснулся и огляделся в комнате, то почувствовал всю браваду и малодушие найденного им образа. Это был не мусор Парижа, поскольку мусор безличен: это была жизнь Джованни, которой его вырвало.

Передо мной, по сторонам и повсюду в комнате стеной высились картонные и оклеенные кожей коробки и ящики, одни из которых были перевязаны верёвкой, другие закрыты на замок, третьи сломаны, а из самой верхней коробки сыпались вниз нотные листы скрипичной музыки. В комнате была скрипка; она лежала на столе в покоробленном и потрескавшемся футляре. Глядя на неё, нельзя было определить, была ли она оставлена здесь вчера или сто лет назад. Стол был завален пожелтевшими газетами, заставлен пустыми бутылками. На нём лежала одна коричневая сморщенная картофелина, у которой даже белые ростки давно сгнили. На полу было разлито красное вино, которое подсохло, отчего воздух в комнате стал сладким и спёртым. Но самым страшным в комнате был не этот беспорядок, а то, что если начать искать в этом завале ключи, то ясно, что их не найти ни в одном из наиболее вероятных мест. Поскольку дело здесь было не в привычках, обстоятельствах или свойствах характера; дело было в наказании и скорби. Не знаю, как я это понял, но понял сразу. Возможно, понял потому, что хотел жить. И я впился в эту комнату взглядом с тем нервным и расчётливым напряжением ума и всех сил, которое возникает, когда взвешивают неизбежную и смертельную опасность, – в глухие стены с отдалёнными архаическими влюблёнными, заключёнными в ловушку бесконечного розового сада, в вылупившиеся окна, вылупившиеся, как два огромных глаза из льда и пламени, в потолок, нависавший, как тучи, из которых иногда говорили демоны, и тщетно старавшийся затуманить и смягчить свою недоброжелательность жёлтым светом лампочки, что свисала, как болезненный и расплывчатый половой член, посередине. Под его тупоголовой стрелой, под этим растоптанным цветком света громоздился весь тот ужас, что заключал в себе душу Джованни. Я понял, почему он стремился привести меня и привёл в своё последнее убежище. Я должен был уничтожить эту комнату и дать Джованни новую, лучшую жизнь. Эта жизнь могла быть лишь моей собственной, которая, для того чтобы преобразить жизнь Джованни, должна была сначала стать неотъемлемой частью этой комнаты.

Сначала, — поскольку причины, приведшие меня в комнату Джованни, были так разнородны и имели так мало общего с его надеждами и желаниями и поскольку они уходили корнями в моё собственное отчаяние, — я придумал развлечение: разыгрывать из себя домохозяйку, когда он уходил на работу. Я выбросил обои, бутылки, фантастические горы мусора, я исследовал содержимое бесчисленных коробок и чемоданов и избавился от них. Но я не домохозяйка: мужчинам никогда с этим не справиться. И я не получал от этого настоящего удовольствия, несмотря на покорную и благодарную улыбку Джованни, твердившего мне на сотни ладов, как это прекрасно, что мы вместе и что я своей любовью, своей изобретательной заботой заслоняю его от тьмы. День за днём он старался показать мне, как он изменился, как его преобразила любовь, как он работает, поёт и лелеет меня. Я пребывал в полном замешательстве. Иногда я думал: это *и есть* твоя жизнь. Брось ей сопротивляться. Прекрати борьбу. Или же я думал о том, что счастлив: он любит меня, я в безопасности. Иногда, когда его не было рядом, я думал, что никогда больше не позволю ему дотронуться до меня. Потом, когда он дотрагивался, я думал, что это неважно, что это лишь тело, и через несколько мгновений всё будет кончено. Когда же это было кончено, я лежал в темноте, слушал его дыхание и мечтал о прикосновении рук, его рук или чьих угодно рук, тех, в чьей власти будет раздавить и сотворить меня снова.

Иногда я оставлял Джованни после нашего послеполуденного завтрака — с головой в голубом нимбе сигаретного дыма — и шёл в банк «Америкен экспресс» около Гранд-опера, где меня могли ожидать письма. Иногда, но редко, Джованни шёл со мной: он говорил, что ему невыносимо находиться в окружении такого количества американцев. Говорил, что все они на одно лицо, и я уверен, что для него это так и было. Но для меня они были разными. Я понимал, что у них есть что-то общее, что и делало их американцами, но никогда не мог определённо сказать, что именно. Я знал: что бы ни было этим качеством, я им тоже обладал.. И знал, что Джованни отчасти был привязан ко мне именно поэтому. Когда ему хотелось показать, что он мной недоволен, он говорил, что я *vrai Américain*<sup>10</sup>; и наоборот, когда он был счастлив, то говорил, что во мне нет ничего от американца. Но в обоих случаях он задевал глубоко во мне нерв, который в нём не болел. И меня это обижало: обижало, что меня называют американцем (и обижало, что это обижало), поскольку это делало меня не больше того — не знаю чего; обижало, что считают *не* американцем, поскольку это делало меня как бы ничем.

Но однажды, ослепительно ярким летним днём, войдя в «Америкен экспресс», я был вынужден признать, что эта возбуждённая, такая нервно бодрящаяся масса вдруг стала колоть мне глаза своей общностью. Дома я мог бы различить типы, обычаи, местные выговоры без малейшего усилия. Теперь же все они, если не вслушиваться очень внимательно, говорили так, будто только что приехали из Небраски. Дома я отметил бы разницу в одежде, здесь же я видел лишь сумки, фотоаппараты, ремни и шляпы, купленные, совершенно очевидно, в одном и том же универмаге. Дома я почувствовал бы какую-то неповторимую женственность в этих американках; здесь же им с жутким совершенством удавалось казаться холодными как лёд, или высушенными на солнце существами неопределённого пола, и даже старухи, казалось, не претерпели никаких метаморфоз плоти. Мужчин же отличало то, что они казались неспособными менять возраст. От них шёл запах мыла, который оберегал их, наподобие презерватива, от опасностей и обязательств, налагаемых запахами более интимного свойства. Оставшийся незапачканным, нетронутым, неизменившимся мальчик смотрел из глаз шестидесятилетнего мужчины, покупающего вместе со своей улыбающейся женой билеты в Рим. Эта жена могла бы быть его матерью, проталкивающей ему в горло лишнюю ложку овсяной каши, а Рим — тем фильмом, на который она обещала его отпустить.

<sup>10</sup> Настоящий американец (фр.)



Но я подозревал, что то, что я видел, было лишь частью правды и, возможно, не самой важной: под этими лицами, этой одеждой, акцентом и грубостью крылись сила и скорбь, в которых они себе не признавались и о существовании которых не подозревали, – сила первооткрывателей и скорбь отлучённых.

Я встал в очередь за почтой позади двух девушек, решивших, что они хотят остаться в Европе, и надеющихся найти работу в американских представительствах в Германии. Одна из них влюбилась в молодого швейцарца, как я понял из торопливого и возбуждённого перешёптывания. Вторая призывала подругу «занять твёрдую позицию» (я так и не понял, по отношению к чему), и влюблённая девушка всё кивала головой, но скорее из растерянности, чем из согласия. У неё был вид задыхающегося и оторопелого человека, который хочет многое высказать и ничего не может сказать. «Смотри, не будь душой», – увещевала подруга. «Да-да, я знаю», – отвечала девушка. Складывалось впечатление, что хотя она, конечно, не стремилась быть душой, но забыла значение этого слова и теперь уже вряд ли когда-нибудь его вспомнит.

Меня ждало два письма – одно от отца, другое от Хеллы. Довольно долго она посылала мне только открытки. Я боялся, что её письмо содержит что-то важное, и не хотел с него начинать. Сначала я распечатал письмо от отца. Я читал его стоя, укрывшись от солнца рядом с беспрерывно открывающимися и закрывающимися дверьми.

«Дорогой мой шалопай, собираешься ли ты когда-нибудь вернуться домой? Не думай, что я забочусь только о себе, но я, правда, очень хочу тебя видеть. Думаю, что ты уже достаточно долго отсутствовал. И бог знает, что ты там делаешь, потому что ты пишешь слишком редко для того, чтобы я мог хотя бы догадаться. Но я предполагаю, что в один прекрасный день ты пожалеешь, что сидел там, оставившись в свой собственный пупок, пока жизнь обходила тебя стороной. Ничего хорошего для тебя там нет. Ты такой же наш, как американская свинина с бобами, хотя, может быть, ты больше так не считаешь. Не обижайся, но я скажу, что ты уже не так молод, чтобы продолжать учиться, если это действительно то, чем ты занимаешься. Тебе давно третий десяток. Я тоже не молодею, и только ты у меня на свете. Очень хочется тебя видеть».

Ты всё просишь прислать твои деньги и, наверно, думаешь, что я поступаю с тобой по-свински. Я вовсе не собираюсь морить тебя голодом, и ты прекрасно знаешь, что если ты действительно будешь в чём-то нуждаться, я первым приду тебе на помощь. Но думаю, что сослужу тебе плохую службу, если позволю истратить там то небольшое, что у тебя осталось, и вернуться домой без гроша. Какого чёрта ты там сидишь? Открой старику свои секреты, а? Ты, может, не поверишь, но когда-то я ведь тоже был молодым».

Дальше было о моей мачехе и о том, как ей хочется меня увидеть, о разных наших друзьях и о том, как у них обстоят дела. Было ясно, что моё отсутствие начинает его пугать. Он не понимал, что оно означает. Но у него явно зарождались подозрения, становившиеся с каждым днём всё неопределённое и мрачнее, хотя он не сумел бы выразить их словами, даже если бы попытался. То, что он не осмелился ни спросить, ни предложить в письме, звучало примерно так: «*Это связано с женщиной, Дэвид? Вези её домой. Мне всё равно, кто она. Привези её, и я помогу вам здесь устроиться*». Он не решился задать этот вопрос, потому что не вынес бы отрицательного ответа. Отрицательный ответ выявил бы, до какой степени мы стали чужими. Я сложил письмо, сунул его в задний карман и стал смотреть на широкую, залитую солнцем чужеземную улицу.

Через бульвар переходил одетый в белую форму моряк, шедший той смешной качающейся походкой, какая бывает у моряков, с мечтательным и самоуверенным видом, говорящим, что с ним должно произойти многое и немедленно. Я уставился на него, не подозревая об этом, и мечтал стать им. Казалось, он был моложе,

чем я бывал когда-либо в жизни, блондинистой и красивее, что он был облачён в свою мужественность так же недвусмысленно, как в свою кожу. Он напомнил мне о доме. Возможно, это не место, а просто непреложное состояние. Я знал, как он пьёт, как ведёт себя с друзьями, и что боль и женщины ставят его в тупик. Я думал о том, был ли когда-нибудь таким мой отец, был ли я когда-нибудь таким, хотя было трудно себе представить, что у этого парня, перелетающего улицу так, будто он сам был светом дня, было хоть какое-то прошлое и вообще какое-то отношение к чему-либо. Он поравнялся со мной и, будто разгадав всё объясняющий испуг моего взгляда, посмотрел на меня с пренебрежительной похотливостью и пониманием – так, как пару часов назад он мог смотреть на отчаянно разодетую нимфоманку или шлюху, разыгрывающую из себя даму общества. Я был уверен, продлись эта встреча ещё секунду, весь этот свет и вся красота слились бы в грубую вариацию на тему: «*Слушай, малыш, я же тебя знаю*». Я почувствовал, как запылало у меня лицо, как сжалось и запрыгало сердце, пока я спешил пройти мимо него, изо всех сил стараясь смотреть каменным взглядом через его голову. Он застал меня врасплох, поскольку я думал не столько о нём, сколько о письме у меня в кармане, о Хелле и о Джованни. Я перешёл через улицу, не смея оглянуться и гадая о том, что он увидел во мне такого, что сразу вызвало в нём презрение. Я уже не был так юн, чтобы предположить, что это как-то вызвано моей походкой, манерой держать руки или голосом, который он всё равно не слышал. Причина была в другом, и мне её никогда не узнать. Я никогда не посмею её узнать. Это было бы, как смотреть прямо на солнце. Но, торопясь и уже не смея смотреть ни на кого – ни на мужчин, ни на женщин, проходивших мимо меня по широкому тротуару, – я знал, что то, что моряк увидел в моём незащищённом взгляде, было завистью и желанием: я часто видел подобное во взгляде у Жака, и это вызывало во мне ту же реакцию, что у моряка. Но даже если я всё ещё чувствовал влечение и если он прочёл его в моих глазах, это уже ничего не могло изменить, потому что само это влечение к молодым людям, на которых я был обречён теперь засматриваться, было намного страшнее, чем просто похоть.

Я прошёл дальше, чем хотелось, поскольку не решался остановиться, думая, что моряк мог всё ещё смотреть на меня. Недалеко от Сены, на улице Пирамид, я сел за столик в кафе и распечатал письмо Хеллы.

*«Mon cher, – начинала она, – Испания – моя любимая страна, mais ça n'empêche que Paris est toujours ma ville préférée<sup>11</sup>. Мне ужасно хочется снова очутиться среди всех этих сумасшедших людей, бегущих в метро, прыгающих с автобусов, лавирующих на мотоциклах, устраивающих автомобильные пробки и обожающих все эти безумные статуи во всех этих абсурдных парках. Я изнываю по этим подозрительным дамочкам на площади Согласия. Испания совсем не такая. И уж во всяком случае она не фривольна. Я действительно думаю, что могла бы остаться в Испании навсегда, если бы никогда не видела Парижа. Эта страна так прекрасна: она из камня, солнца и одиночества. Но постепенно начинаешь уставать от оливкового масла и рыбы, кастаньет и тамбуринов, что со мной и произошло. Я хочу вернуться домой, то есть домой в Париж. Смешно, но я нигде ещё не ощущала себя дома.*

Ничего здесь со мной не произошло. Думаю, ты будешь этим доволен. Признаюсь, довольна и я. Испанцы – добрые люди, но, конечно, в большинстве страшно бедные. Те же, кто не беден, просто невыносимы. Я не люблю туристов, особенно англичан и американцев, страдающих дипсоманией, которым их семья, мой дорогой, платят, чтобы держать подальше. (Хотела бы я иметь семью.) Теперь я на Майорке<sup>12</sup>. Это было бы славное место, если бросить всех вдов пенсионного

<sup>11</sup> Мой дорогой (...) несмотря на это, Париж остаётся моим любимым городом (фр.)

<sup>12</sup> Или Мальорка, наиболее крупный из Балеарских островов (большая часть настоящего перевода была, кстати, выполнена именно на этом острове).

возраста в море и запретить к употреблению сухой мартини. Ничего подобного я ещё не видела! Все эти старые ведьмы, жрущие, пьющие и строящие глазки всему, что в брюках, а в особенности если ему лет восемнадцать. Я сказала себе: «Хелла, моя девочка, посмотри хорошенько. Перед тобой, вполне возможно, твоё будущее». Вся проблема в том, что я слишком себя люблю. Так что я решила позволить это делать двоим (я имею в виду любить меня) и посмотреть, что из этого выйдет. (Я страшно довольна, что приняла это решение. Надеюсь, и тебе оно по душе, мой дорогой рыцарь в латах из «Гимбела»<sup>13</sup>.)

*Я имела глупость согласиться на унылую поездку в Севилью с английской семьёй, с которой познакомилась в Барселоне. Они обожают Испанию и хотят повести меня на корриду, которую я так пока и не видела за всё это время. Они очень симпатичные. Он – что-то вроде поэта на Би-би-си, а она – деловая и боготворящая его супруга. Действительно милые. Хотя у них есть невозможный полоумный сынок, вообразивший, что он без ума от меня. Но на мой вкус он слишком англичанин и слишком юн. Мы уезжаем завтра дней на десять. Потом они возвращаются в Англию, а я – к тебе!»*

Я сложил это письмо, которого, как теперь понимаю, ждал много дней и ночей, и официант подошёл ко мне за заказом. Мне хотелось взять аперитив, но теперь, поддавшись странному праздничному настроению, я попросил виски с содовой. Попивая этот напиток, который никогда ещё не казался мне столь американским, как в тот момент, я глазел на абсурдный Париж, представлявшийся под палящим солнцем таким же невообразимо хаотичным, как пейзаж моей души. Я думал о том, что же мне делать.

Не могу сказать, что мне было страшно. Лучше сказать, что я не чувствовал никакого страха, подобно тому, как в первое мгновение, судя по рассказам, не чувствуют никакой боли те, в кого попала пуля. Напротив, я испытывал определённое облегчение. Казалось, необходимость принимать решения взял на себя кто-то другой. Я говорил себе, что мы с Джованни всегда знали, что наша идиллия не может длиться вечно. Ведь я не играл с ним в прятки: он был в курсе всего, что касается Хеллы. Он знал, что однажды она должна вернуться в Париж. Теперь она возвращается, и наша история с Джованни подходит к концу. Однажды это случается со всеми мужчинами. Я расплатился, встал и направился через Сену в сторону Монпарнаса.

Я был в приподнятом настроении, хотя, пока я шёл по бульвару Распай в направлении монпарнасских кафе, я не мог не вспомнить, что мы с Хеллой здесь шли, что мы шли здесь с Джованни. И с каждым шагом то лицо, которое настойчиво возникало передо мной, превращалось в его лицо. Я гадал о том, как он воспримет новость. Мне не верилось, что он бросится на меня с кулаками, но я боялся увидеть то, что отразится у него на лице. Я боялся той боли, которую увижу. Но больше всего я боялся даже не этого. Мой главный страх был зарыт гораздо глубже и толкал меня к Монпарнасу. Я хотел найти женщину. Любую женщину.

Но террасы перед кафе почему-то пустовали. Я медленно прошёл по обеим сторонам бульвара, глядя на столики. Я дошёл уже до «Closerie des Lilas»<sup>14</sup> и выпил там в одиночестве. Перечитал письма. Мне хотелось сейчас же найти Джованни и сказать, что я от него ухожу, но я знал, что он ещё не открыл бар и может быть в этот час где угодно в городе. Я снова пошёл вверх по бульвару. Тут я увидел несколько проституток, но они были малопривлекательны. Я сказал себе, что достоин чего-то лучшего, чем это. Дойдя до «Select»<sup>15</sup>, я сел за столик. Я разглядывал прохожих и пил. Очень долго не появлялось ни одного знакомого лица.

<sup>13</sup> Название известных в США универмагов, ныне не существующих.

<sup>14</sup> Название известного кафе.

<sup>15</sup> То же.

Тот, кто появился и кого я знал не слишком хорошо, была девушка по имени Сю, блондинка, довольно пышнотелая, обладавшая теми качествами, благодаря которым, несмотря на недостаточную привлекательность, каждый год выбирают Мисс «Рейнгольд»<sup>16</sup>. Её курчавые волосы были пострижены очень коротко. У неё были маленькие груди и большой зад, и чтобы показать всему миру, что ей наплевать на свою внешность и непривлекательность, она почти всегда носила облегающие джинсы. Родом она была, кажется, из Филадельфии, из очень богатой семьи. Иногда, будучи пьяной, она поносила своих родственников последними словами, а иногда, напившись в другом настроении, начинала превозносить их деловые качества и добропорядочность. Я был одновременно раздосадован и обрадован её появлением. С первого же момента я начал раздевать её в своём воображении догола.

– Присаживайся, – сказал я. – Выпей чего-нибудь.

– Рада видеть тебя *воочию*, – громко начала она, садясь и ища глазами официанта. – Ты куда-то окончательно пропал. Как дела?

Она перестала оглядываться и придвинулась ко мне с дружеской улыбкой на лице.

– У меня всё в порядке. А ты как?

– Ах, я?! Со мной никогда ничего не происходит.

Углы её хищного и в то же время уязвимого рта опустились вниз, что означало, что это было сказано и в шутку, и всерьёз.

– Я воздвигнута, как кирпичная стена.

Мы оба рассмеялись. Она внимательно посмотрела на меня.

– Говорят, ты живёшь на окраине города, недалеко от зоопарка<sup>17</sup>.

– Я нашёл там комнату служанки. Очень дешёвую.

– Ты там один?

Я не знал, слышала ли она о Джованни, и почувствовал, что у меня на лбу начинает выступать пот.

– Что-то вроде.

– Что-то вроде? Какого чёрта ты говоришь загадками? Ты живёшь с обезьяной или чем-то в этом роде?

Я ухмыльнулся.

– Да нет. Но у меня есть знакомый парень, француз, который живёт у своей подружки, но они часто ссорятся, а комната эта *его*, и когда подружка выставляет его на улицу, он обитает несколько дней со мной.

– А-а, – вздохнула она. – *Chagrin d'amour!*<sup>18</sup>

– Но он проводит время более чем приятно. И ему это дело нравится. А тебе?

Я взглянул на неё.

– Кирпичные стены непробиваемы.

К нам подошёл официант.

– Может, – начал я наглеть, – всё зависит от тарана.

– Чем ты меня угостишь? – спросила она.

– А чем ты предпочитаешь?

Мы оба разулыбались. Официант стоял над нами, являя своим видом несомненную *joie de vivre*<sup>19</sup>.

– Я бы выпила, – начала она, заморгав своими узкими голубыми глазами, – *un ricard*<sup>20</sup>. Только с целой горой льда.

<sup>16</sup> Уже не существующая марка американского пива, символом которого была девушка с «типично» германской внешностью, т.е. пышная, румяная блондинка.

<sup>17</sup> Парижский зоопарк расположен в Венсенском лесу.

<sup>18</sup> Муки любви (фр.).

<sup>19</sup> Радость жизни (фр.)

<sup>20</sup> Крепкий анисовый ликёр, который пьют, разбавляя водой, отчего он приобретает матовый оттенок.

– Deux ricards, – сказал я официанту, – avec beaucoup de la glace.

– Oui, monsieur<sup>21</sup>.

Я был уверен, что он презирает нас обоих. Я подумал о Джованни, о том, сколько раз это «oui, monsieur» слетает с его губ за вечер. Вместе с этой мимолётной мыслью пришла другая, такая же мимолётная: иное ощущение Джованни, с его внутренней жизнью и болью, всем тем, что бурлило в нём, как потоп, когда мы лежали ночью рядом.

– Ну а дальше, – сказал я.

– Дальше?

Она сделала большие невинные глаза.

– А на чём мы остановились?

Она старалась казаться кокетливой и старалась казаться недогадливой. Я чувствовал, что совершаю что-то очень жестокое. Но я не мог остановиться.

– Мы говорили о кирпичных стенах и о том, чем их можно пробить.

– Я никогда не подозревала, – сказала она с жеманной улыбкой, – что тебя интересуют кирпичные стены.

– Ты ещё многого во мне не подозреваешь.

Официант принёс заказанное.

– А знаешь ли ты, как приятно совершать открытия?

Она сидела, недовольно уставившись в свою рюмку.

– Честно говоря, – сказала она, повернувшись и взглянув мне в глаза, – нет.

– Ты слишком молода, чтобы это знать. *Всё* должно быть открытием.

Какое-то время она хранила молчание, потягивая свой напиток.

– Я уже сделала, – сказала она наконец, – все открытия, на которые у меня хватило сил.

А я наблюдал за тем, как движутся у неё бёдра в узких джинсах.

– Не можешь же ты вечно оставаться каменной стеной.

– Я не понимаю, почему бы и нет, – ответила она. – И я не знаю, как ею не быть.

– Детка, – сказал я, – у меня есть к тебе предложение.

Она снова взяла рюмку и отпила, уставившись прямо перед собой на бульвар.

– И что за предложение?

– Пригласи меня выпить. *Chez toi*<sup>22</sup>.

– Не думаю, – сказала она, поворачиваясь ко мне, – что у меня что-то осталось.

– Мы прихватим что-нибудь по дороге.

Она разглядывала меня довольно долго. Я старался не опустить глаза.

– Думаю, что мне лучше этого не делать, – произнесла она наконец.

– Почему же?

Она сделала какое-то лёгкое, беспомощное движение на своём плетёном стуле.

– Не знаю. Я не знаю, чего ты хочешь.

Я засмеялся.

– Если пригласишь меня к себе выпить, я тебе всё покажу.

– Ты просто невыносим, – сказала она тем голосом, в котором, как и во взгляде, впервые проявилось что-то искреннее.

– Думаю, что это *ты* невыносима.

Я посмотрел на неё с улыбкой, в которой, как я надеялся, было что-то одновременно ребячливое и настойчивое.

– Не знаю, что я такого невозможного сказал. Я выложил все свои карты. А ты свои прячешь. Не знаю, почему мужчина должен казаться тебе невыносимым, если он объявляет, что ты его привлекаешь.

<sup>21</sup> Два рикара, и побольше льда. Да, мосьё (фр.)

<sup>22</sup> К себе (фр.)

– Брось, пожалуйста, – сказала она и допила свою рюмку. – Я уверена, что это всё от жары.

– Жара не имеет к этому никакого отношения.

Она ничего не ответила.

– Всё, что ты должна сделать, – сказал я в отчаянии, – это решить, выпьем ли мы ещё здесь или же у тебя.

Она неожиданно щёлкнула пальцами, но это не придало ей беззаботного вида.

– Пошли, – сказала она. – Уверена, что пожалею об этом. Но тебе действительно придётся что-то купить. У меня в доме нет *ничего*. И таким образом, – добавила она после паузы, – я выиграю от этого хоть что-нибудь.

И тогда пришёл мой черёд испугаться. Чтобы не смотреть ей в глаза, я устроил целое представление с вызыванием официанта. Но он подошёл с той же неизбежностью, что и всегда. Я расплатился, мы встали и зашагали в направлении улицы Севр, где Сю снимала маленькую квартиру.

Эта квартира была тёмной и заставленной мебелью.

– Здесь нет ничего моего, – сказала она. – Всё это вещи хозяйки, дамы определённого возраста, которая в настоящий момент лечит нервы в Монте-Карло.

Она тоже очень нервничала, и я подумал, что её взволнованность очень поможет мне вначале. Я поставил купленную фляжку коньяка на мраморный столик и обнял Сю. Почему-то я напряжённо думал о том, что уже восьмой час, что скоро солнце сядет за Сену, что ночная жизнь Парижа вот-вот закипит и что Джованни уже должен быть на работе.

Она была очень толстой и судорожно текучей – текучей, но не способной разлиться. Я ощущал её негибкость, напряжённость и глубокое недоверие, созданное слишком многими мужчинами вроде меня и теперь уже безнадежно застарелое. То, что мы собирались делать, будет не так уж привлекательно.

И, будто почувствовав это, она отошла от меня.

– Давай выпьем, – сказала она. – Если, конечно, ты не очень спешишь. Я постараюсь не задерживать тебя больше, чем абсолютно необходимо.

Она улыбнулась, улыбнулся и я. В этот момент мы стали ближе всего друг к другу, как два вора.

– Давай выпьем, и не раз, – ответил я.

– Всё-таки *не так* уж много раз, – подхватила она и опять разулыбалась фальшиво и заманчиво, как забытая кинозвезда, возникшая перед безжалостными объективами из долгого небытия.

Она взяла коньяк и исчезла в крошечной кухне.

– Располагайся поудобнее, – крикнула она оттуда. – Сними ботинки. Сними носки. Поройся в книгах. Я часто думаю, что бы я делала, если бы на свете не было книг.

Сняв ботинки, я развалился на диване. Я старался ни о чём не думать. Но я думал о том, что то, что я делал с Джованни, ни в коем случае не было более аморально, чем то, что собираюсь делать сейчас с Сю.

Она вернулась с двумя большими коньячными рюмками, под села вплотную ко мне, и мы чокнулись. Пока мы пили, она рассматривала меня, потом я коснулся её груди. Губы у неё приоткрылись, и она поставила свою рюмку и с невероятной неуклюжестью растянулась рядом со мной. Это было движением полного отчаяния, и я понимал, что она отдаётся не мне, а тому любовнику, который никогда не придёт.

А я – я думал о многом, спаренный с Сю в этой темноте. Думал о том, приняла ли она какие-то предосторожности, чтобы не забеременеть. И эта мысль о ребёнке от нашей с Сю связи, об опасности пойматься таким образом – во время самого акта ради моего, так сказать, спасения – чуть не заставила меня расхохотаться. Я

думал о том, не были ли её джинсы брошены на сигарету, которую она перед этим курила. Думал о том, нет ли у кого-нибудь ключей от её квартиры, не слышно ли нас через тонкие стены, и том, как мы будем ненавидеть друг друга через несколько мгновений. Я относился к тому, что мы делали с Сю, как к какой-то работе, которую необходимо выполнить образцово. Где-то, в самой глубине души, я понимал, что совершаю по отношению к ней что-то ужасное, и вопросом чести для меня стало не сделать это слишком очевидным. В течение этого чудовищного акта я пытался убедить себя, что презираю не её, *не её* плоть, и что не ей я не смогу посмотреть в глаза, когда мы снова примем вертикальное положение. И ещё в глубине души я отдавал себе отчёт в том, что все мои страхи были напрасны, лишены основания и на самом деле ложны: с каждой минутой становилось очевиднее, что то, чего я боялся, не имело никакого отношения к моему телу. Сю не была Хеллой и не умерила моего страха перед её возвращением, а, наоборот, увеличила его, сделала его более реальным. В то же время я сознавал, что всё у меня с Сю получалось даже слишком складно, и старался не презирать её за то, что она испытывает так мало по сравнению с тем, кто на ней трудится. Я совершил путешествие через серию криков Сю, через барабанную дробь её кулаков по моей спине, и по некоторым движениям её бёдер и ног рассудил, как скоро смогу освободиться. Потом я сказал себе: «Уже вот-вот». Её стоны становились всё громче и настойчивей; я отчётливо чувствовал, как у меня на пояснице собирается холодный пот, и говорил про себя: «Скорее бы уж, Господи, она получила своё, чтобы наконец отвязаться»; и дело пошло к концу, и я уже ненавидел её и себя; потом всё было кончено, и стены тёмной крошечной комнаты вдруг отвалились от меня.

Она долго оставалась без движения. Я чувствовал ночь за стенами, и она влекла меня. Наконец я встал и закурил.

– Наверное, – сказала она, – лучше допьем.

Она села и зажгла лампу, стоявшую рядом с кроватью. Я боялся этого мгновения. Но она ничего не прочла в моём взгляде и уставилась на меня так, будто я вернулся на белом коне из долгого странствия и остановился прямо под окном её темницы. Она подняла рюмку.

– *A la vôtre*, – сказал я.

– *A la vôtre*, – повторила она и хихикнула. – *A la tienne, chéri!*<sup>23</sup>

Она нагнулась и поцеловала меня в губы. Тут она почувствовала что-то, отстранилась и, уставившись на меня ещё не совсем сузившимися глазами, произнесла без нажима:

– Думаешь, мы повторим когда-нибудь?

– Разумеется, почему бы и нет? – ответил я, пытаюсь засмеяться. – Все приспособления остаются при нас.

Она промолчала. Потом:

– Не хочешь поужинать со мной сегодня?

– Мне очень жаль, – сказал я, – действительно жаль, Сю, но я уже договорился о встрече.

– А-а. Может быть, завтра?

– Слушай, Сю, я терпеть не могу договариваться о встречах заранее. Лучше я объявлюсь неожиданно.

Она допила коньяк.

– Сомневаюсь, – сказала она, поднялась и отошла от меня. – Я только накину что-нибудь и спущусь с тобой.

Она вышла, и я услышал, как течёт вода. Я сел, всё ещё голый, но в носках, и налил себе коньяка. Теперь мне уже было страшно выходить в эту ночь, которая только что влекла меня.

<sup>23</sup> Ваше здоровье! (...) Твоё здоровье, мой милый! (фр.)

Когда она вернулась, на ней было платье, настоящие туфли, а волосы были немного взбиты. Должен признаться, что это шло ей больше, она больше походила на девушку, даже на девочку-старшеклассницу. Я встал, разглядывая её и одеваясь.

– Тебе это очень идёт, – сказал я.

Было видно, что она многое хотела сказать, но заставила себя промолчать. Мне стало не по себе от той борьбы, что отразилась у неё на лице, – мне было стыдно.

– Может, когда-нибудь тебе снова станет одиноко, – сказала она наконец. – Думаю, что не буду возражать, если ты снова найдёшь меня.

И она улыбнулась самой странной из всех виденных мною улыбок – болезненной, мстительной и униженной, но тут же неумело попыталась смягчить эту гримасу отчаянной девичьей весёлостью – такой же негибкой, как скелет под её дряблой плотью. Если судьба позволит ей когда-нибудь добраться до меня, она убьёт меня одной этой улыбкой.

– Держи в окне огонёк, – сказал я.

Она открыла дверь, и мы вышли на улицу.

### 3

Я расстался с ней у ближайшего угла, промямлив какое-то детское оправдание, и увидел издали, как её вялая фигура пересекает бульвар, направляясь к кафе.

Я не знал, что делать и куда идти. Вскоре я оказался у Сены, и ноги медленно понесли меня домой.

В этот момент, пожалуй, впервые в жизни смерть представилась мне реальностью. Я думал о тех, кто до меня смотрел на эту реку и отправился спать на её дно. Старался их понять. Старался понять, как они сделали это – физически. Мысль о самоубийстве приходила мне в голову, когда я был гораздо моложе, как, наверно, это бывает у каждого; хотя тогда это было из мести, из желания объявить всему миру, как ужасно я в нём страдал. Но в молчании этого вечера, в котором я брёл, не было ничего общего с той бурей, с тем далёким мальчиком. Я просто думал о мёртвых, потому что их время кончилось, а я не знал, как проживу своё.

Этот город, Париж, который я так любил, был совершенно безмолвен. На улицах почти никого не было, хотя вечер ещё только начинался. И всё-таки подо мной – вдоль реки, под мостами, в тени набережных – я почти слышал общий судорожный вздох любовников и бродяг, спавших, целовавшихся, спаривавшихся, глазевших в наступающую ночь. За стенами, мимо которых я шёл, французская нация убирали со стола посуду, укладывала маленьких Жан-Пьеров и Мари в кровать, хмурилась, думая об извечно недостающих су, о покупках, о церкви и неустойчивости в государстве. Эти стены, эти закрытые ставни заключали и оберегали их от темноты и протяжного стога долгой ночи. Лет через десять эти маленькие Жан-Пьеры и Мари могут оказаться над рекой и задуматься, подобно мне, как же их угораздило вывалиться за спасительную перегородку. Какой долгий путь, думалось мне, я прошёл лишь для того, чтобы погибнуть.

А ведь правда, вспоминал я, поворачивая от реки к длинной улице, на которой мы жили, – правда, что мне хотелось иметь детей. И мне снова захотелось оказаться там, внутри, где светло и безопасно, где моя мужественность не вызывала бы сомнений, где я смотрел бы на жену, укладывающую спать моих детей. Мне хотелось такую же кровать и те же объятья ночью, захотелось проснуться утром, зная, где я нахожусь. Мне захотелось женщину, которая была бы для меня почвой под ногами – твёрдой, как сама земля, дающей мне силы к вечному обновлению. Так уже было однажды, было почти так. Я ещё мог всё вернуть, сделать реальностью. Нужно лишь краткое, резкое усилие для того, чтобы снова стать самим собой.

Идя по коридору, я увидел свет под нашей дверью. До того, как я вставил ключ в замочную скважину, дверь открылась изнутри. Передо мной стоял Джованни



с падающими на глаза волосами, смеющийся. В руке у него была рюмка с коньяком. Вначале меня поразило то, что казалось весёлым оживлением на его лице. Потом я увидел, что это было не веселье, а истерика и отчаяние.

Я начал спрашивать, что он делает дома, но он втянул меня в комнату, крепко обняв за шею одной рукой. Его била дрожь.

– Где ты был?

Я посмотрел на его лицо, слегка отстраняясь от него.

– Я искал тебя повсюду.

– Ты не пошёл на работу? – спросил я.

– Нет. Выпей лучше. Я купил бутылку коньяка, чтобы отпраздновать своё освобождение.

Он налил мне. Я чувствовал, что не в состоянии шевельнуться. Он подошёл и вложил рюмку мне в руку.

– Джованни, что случилось?

Он не ответил. Неожиданно он присел на край кровати, согнулся. Тогда я увидел, что он в бешенстве.

– Ils sont sales, les gens, tu sais?<sup>24</sup>

Он взглянул на меня снизу. Глаза у него были полны слёз.

– Они просто грязные, все они. Низкие, дешёвые и грязные.

Он поднял руку и потянул меня сесть рядом с ним на пол.

– Все, кроме тебя. Tous sauf toi<sup>25</sup>.

Он держал мою голову в своих руках. Никогда ещё нежность не вызывала во мне такого ужаса.

– Ne me laisse pas tomber, je t'en prie<sup>26</sup>, – сказал он и поцеловал меня в губы с какой-то настойчивой лаской.

Ещё не случилось, чтобы его прикосновение не вызвало во мне желания. Но теперь меня начало мутить от его горячего, сладкого дыхания. Я отстранился со всей возможной мягкостью и отпил коньяка.

– Джованни, скажи мне, пожалуйста, что случилось. В чём дело?

– Он уволил меня, Гийом. Il m'a mis à la porte<sup>27</sup>.

Он захохотал, вскочил и начал ходить взад и вперёд по крошечной комнате.

– Он сказал, чтобы я больше не показывался в его баре. Сказал, что я разбойник, вор и грязный уличный мальчишка и что я бегал за ним только для того (я бегал за *ним*), чтобы когда-нибудь ночью ограбить его. Après l'amour. Merde!<sup>28</sup>

Он снова захохотал. Я не мог выговорить слова и чувствовал, что стены комнаты рушатся на меня.

Джованни стоял у замазанных белым окон, спиной ко мне.

– Он сказал всё это в присутствии многих людей, внизу, прямо в баре. Дождь, пока соберётся народ. Мне хотелось убить его, всех их убить.

Он вернулся в центр комнаты и подлил себе коньяка. Выпил залпом, потом вдруг размахнулся и швырнул со всей силы рюмку о стену. Рюмка звякнула и рассыпалась на тысячи осколков по всей нашей постели, по всему полу. Я по-прежнему не мог шевельнуться. Потом, с таким чувством, будто переставляю ноги в воде и в то же время видя свой рывок со стороны, я схватил его за плечи. Он разрыдался. Я прижал его к себе. И пока его страх, как соль его пота, проникал в меня, пока я чувствовал, что сердце у меня готово разорваться, я поймал себя на невольном, недоумевающем презрении: как мог я считать его сильным?

<sup>24</sup> Знаешь, люди такие грязные (фр.)

<sup>25</sup> Все, кроме тебя (фр.)

<sup>26</sup> Не бросай меня, прошу тебя (фр.)

<sup>27</sup> Он выставил меня за дверь (фр.)

<sup>28</sup> Переспав с ним. Дерьмо! (фр.)

Он отстранился от меня и сел, прислонившись спиной к ободранной стене. Я сел напротив него.

— Я пришёл сегодня в обычное время, — сказал он, — и был в отличном настроении. Привёл всё в баре в порядок, как обычно, выпил чего-то и перекусил. Тогда появился он, и я сразу увидел, что он в опасном настроении. Возможно, его только что унижил отказом какой-то мальчишка. Смешно, что когда Гийом в опасном расположении духа, он становится очень почтительным. Когда с ним случается что-то унижительное, показывающее ему хотя бы на мгновение, какой он мерзкий и какой одинокий, он сразу вспоминает, что принадлежит к одной из благороднейших и древнейших французских фамилий. А может, именно тогда он вспоминает, что его имя исчезнет вместе с ним. Тогда он должен немедленно сделать что-то такое, что заставит его забыть о пережитом. Должен устроить страшный шум или заполучить уж *очень* милovidного мальчика, или выпиться, или поссориться, или рассматривать свои грязные фотографии.

Он замолчал, встал и снова принялся ходить по комнате.

— Не знаю, что с ним случилось сегодня, но с момента своего появления он принял очень деловой вид, стараясь найти какой-то промах в моей работе. Но всё было в порядке, и он поднялся к себе. Через некоторое время он вызвал меня. Я ненавижу подниматься в его маленькое pied-à-terre<sup>29</sup>, поскольку это всегда означает, что он устроит сцену. Но делать было нечего. Он был в халате и сильно надушен. Не знаю почему, но как только я его увидел, я пришёл в ярость. Он посмотрел на меня так, будто был какой-то неотразимой кокеткой (а ведь он урод, урод с телом, как из скисшего молока!), и спросил, как дела у тебя. Я был немного озадачен, поскольку он никогда о тебе не упоминал, и сказал, что у тебя всё хорошо. Он спросил, живём ли мы всё ещё вместе. Думаю, что нужно было солгать, но я не видел никакой причины врать этой гнусной старой фее, поэтому ответил: «Bien sûr». Я старался держаться спокойно. Затем он принялся задавать мне жуткие вопросы, и мне стало противно видеть его и слушать. Я подумал, что надо поскорее от него избавиться, и ответил, что такое никогда не спрашивает ни исповедник, ни врач и что ему должно быть стыдно. Наверно, он и ждал, когда я скажу что-то в этом роде, потому что сразу разозлился и напомнил, что взял меня с улицы et il a fait ceci et il a fait cela<sup>30</sup>, всё для меня, потому что он думал, что я очарователен, parce-qu'il m'adorait<sup>31</sup>, и так далее, и тому подобное, и что во мне нет ни признательности, ни благородства. Должно быть, я очень плохо справился с ситуацией, потому что ещё несколько месяцев назад я бы заставил его визжать, заставил целовать себе ноги, je te jure<sup>32</sup>, но мне не хотелось этого делать, не хотелось пачкаться об него. Я старался его вразумить. Сказал, что никогда ему не лгал и всегда говорил, что не буду его любовником, но что он принял меня на работу несмотря на это. Сказал, что работаю очень добросовестно, что во всём честен перед ним и что это не моя вина, если — если я не чувствую по отношению к нему того, что он испытывает по отношению ко мне. Тогда он напомнил мне тот раз — единственный раз, когда я не хотел говорить «да», но был так слаб от голода, что едва сдерживал рвоту. Я всё ещё старался сохранять спокойствие и избежать скандала. Поэтому сказал: «Mais à ce moment là je n'avais pas un copain. А теперь я не один, je suis avec un gars maintenant<sup>33</sup>». Я надеялся, что на него это подействует, потому что он обожает романтические истории и клятвы верности. Да, но не на этот раз. Он рассмеялся и сказал ещё что-то ужасное про тебя. Сказал, что ты в конце концов просто парень из Америки, решивший делать во Франции

<sup>29</sup> Пристанище, временное жилище (фр.)

<sup>30</sup> И сделал то-то и то-то (фр.)

<sup>31</sup> Потому что он обожал меня (фр.)

<sup>32</sup> Клянусь тебе (фр.)

<sup>33</sup> «Но тогда у меня не было друга (...) теперь я живу с парнем» (фр.)

то, чего не смел делать дома, и что ты очень скоро от меня уйдёшь. Тогда я вышел наконец из себя и сказал, что получаю от него жалование не для того, чтобы выслушивать этот бред, и в этот момент услышал, как кто-то вошёл в бар, повернулся, не сказав больше ни слова, и пошёл вниз.

Он остановился передо мной.

– Можешь дать мне выпить? – спросил он с улыбкой. – Я больше не буду бить рюмок.

Я протянул ему свою рюмку. Он выпил залпом и вернул её, внимательно изучая моё лицо.

– Не бойся, – сказал он. – Всё у нас образуется. Я не сомневаюсь.

Глаза у него потемнели, и он снова посмотрел в сторону окон.

– Так вот, – продолжил он, – я надеялся, что всё на этом кончится, работал в баре и старался не думать о Гийоме и о том, что он думает или делает там наверху. Это было время аперитивов, понимаешь, и я был очень занят. Вдруг я услышал, как хлопнула дверь наверху, и в ту же секунду понял, что что-то случится, что-то страшное. Он спустился в бар, теперь уже одетый, как парижский бизнесмен, и подошёл прямо ко мне. Он не сказал никому ни слова, был бледен и зол и, естественно, привлёк к себе внимание. Все ждали, что он будет делать. Честно говоря, я думал, что он ударит меня, или, что он спянул и сжимает в кармане пистолет. Поэтому у меня на лице, должно быть, отразился испуг, и это только ухудшило положение. Он зашёл за стойку и начал кричать, что я *tapette*<sup>34</sup> и вор, чтобы я немедленно убирался или он вызовет полицию и засадит меня в тюрьму. Я был так ошарашен, что не мог произнести ни слова, а он кричал всё громче и громче, и люди начинали прислушиваться; и вдруг, *mon cher*, я почувствовал, что падаю, падаю с какой-то огромной высоты. Довольно долго я не испытывал гнева, лишь ощущал, как слёзы закипают во мне, как на огне. Я не мог перевести дыхание, не мог *поверить*, что он действительно так поступает со мной. Я только твердил: «Что я сделал? Что я *такого* сделал?» Но он не отвечал, и вдруг прокричал так, будто выстрелил: «*Mais tu le sais, salaud!*<sup>35</sup> Сам прекрасно знаешь!» Никто не знал, что он имеет в виду, но это была та же сцена, которую он устроил мне в фойе кинотеатра, помнишь? Все верили, что он прав и что я виноват, и что я совершил что-то ужасное. И он подошёл к кассе и вынул какие-то деньги (но я-то знал, что он знает, что в *этот* час там мало денег), сунул их мне, говоря: «Бери! Бери! Лучше самому отдать, чем позволить тебе обворовывать меня ночью! А теперь убирайся!»

О, если бы ты видел эти лица в баре, такие сочувствующие и трагичные, показывающие, что *теперь-то* им всё стало ясно, что они всегда так и думали и страшно рады, что никогда не имели со мной ничего общего. А!? *Les enculés!* Мерзкие сукины дети! *Les gonzesses!*<sup>36</sup>

Он снова разрыдался, но на этот раз от ярости.

– И тогда, наконец, я дал ему в морду, меня тут же схватило множество рук, и трудно понять, что произошло потом, но в конце концов я оказался на улице с пачкой мятых ассигнаций в руке, под взглядом всех этих зевак. Я не знал, что мне делать: страшно не хотелось оставить это так, но я понимал, что если что-то ещё произойдёт, приедет полиция, и Гийом сделает так, что меня посадят. Но он мне ещё попадётся, клянусь, и уж тогда!..

Он умолк и сел, уставившись в стену. Потом повернулся ко мне. Долго разглядывал меня в молчании.

– Если бы тебя здесь не было, – произнёс он очень медленно, – Джованни пришёл бы конец.

<sup>34</sup> Шлюха (фр.)

<sup>35</sup> Ты же знаешь, сволочь! (фр.)

<sup>36</sup> Давалки! (...) Бабы! (фр.)

Я встал.

– Не валяй дурака. Это не такая уж трагедия... Гийом – шваль. Как все они там. Но это ведь не самое страшное, что было у тебя в жизни, а?

– Может, от самого плохого, что случается, человек слабеет, – сказал Джованни так, будто не слышал меня, – так что сопротивляйся всё меньше и меньше.

Он взглянул на меня снизу.

– Нет. Самое худшее случилось со мной давно, и моя жизнь с тех пор была мучением. Ты ведь не уйдёшь от меня, нет?

Я засмеялся.

– Нет, конечно.

Я начал стряхивать осколки стекла с одеяла на пол.

– Не знаю, что сделаю, если ты уйдёшь.

У него в голосе впервые прозвучала нота угрозы, или мне это показалось.

– Я так долго оставался один, что не знаю, смогу ли ещё раз пережить такое.

– Теперь ты не один, – сказал я и добавил поспешно, потому что не выдержал бы в этот момент его прикосновения: – Хочешь погулять? Давай уйдём куда-нибудь из этой комнаты.

Я улыбнулся и грубовато толкнул его в шею, как делают в регби. Мы сцепились на мгновение. Потом я оттолкнул его.

– Я угощаю.

– А ты принесёшь меня потом домой? – спросил он.

– Да. Я опять принесу тебя домой.

– Je t'aime, tu sais?

– Je le sais, mon vieux<sup>37</sup>.

Он подошёл к раковине и умыл лицо. Потом причесался. Я смотрел на него. Он улыбнулся мне из зеркала, став вдруг очень красивым и счастливым. И таким молодым... А я никогда в жизни ещё не чувствовал себя таким беспомощным и таким старым.

– У нас ведь всё будет хорошо! – крикнул он. – N'est-ce pas?<sup>38</sup>

– Разумеется.

Он отвернулся от зеркала, став снова серьёзным.

– Но знаешь, мне трудно сказать, когда я снова найду работу. А у нас почти не осталось денег. У тебя есть что-нибудь? Ничего не пришло сегодня из Нью-Йорка?

– Из Нью-Йорка сегодня ничего не было, – ответил я спокойно, – но у меня есть кое-что в кармане.

Я вынул всё, что у меня было, и положил на стол.

– Почти четыре тысячи франков.

– А у меня...

Он начал рыться в карманах, выбрасывая на пол ассигнации и мелочь. Потом пожал плечами и улыбнулся мне своей невероятно милой, беспомощной и трогательной улыбкой.

– Je m'excuse<sup>39</sup>. Я немного спятил.

Он встал на колени, собрал всё и положил на стол рядом с моими деньгами. Ассигнации примерно на три тысячи франков необходимо было подклеить, и мы отложили их на будущее. Всё, что осталось на столе, составило примерно девять тысяч.

– Мы не миллионеры, – сказал Джованни мрачно, – но завтра ещё не умрём с голоду.

Мне почему-то не хотелось видеть его озабоченным. Наблюдать это выражение у него на лице было выше моих сил.

---

<sup>37</sup> Я люблю тебя, знаешь? Знаю, старина (фр.)

<sup>38</sup> Не так ли? (фр.)

<sup>39</sup> Прости меня (фр.)

– Завтра я снова напишу отцу, – сказал я. – Наверу ему что-нибудь, что-нибудь такое, что *заставит* его прислать мне денег.

Я подошёл к нему так, будто меня что-то тянуло, положил руки ему на плечи и заставил себя посмотреть ему в глаза. Я улыбнулся и ясно почувствовал в это мгновение, что во мне сошлись Иуда и Спаситель.

– Не бойся. Ни о чём не беспокойся.

И ещё я почувствовал, стоя к нему так близко, страстно желая уберечь его от страха, что решение – в который раз! – уже было принято за меня. Ни отец, ни Хелла не существовали для меня в этот момент. Но даже ощущение этого не было так реально, как отчаянное понимание того, что ничто не реально для меня и ничто никогда уже не будет, если только не считать реальностью само это чувство падения.

Эта ночь уже пошла на убыль, и с каждой секундой, отсчитываемой часами, кровь начинает закипать и пузыриться у меня в сердце, и я знаю, что что бы я ни делал, страшная боль вот-вот обрушится на меня в этом доме – такая же голая и серебристая, как тот огромный нож, под который ляжет сейчас Джованни. Мои палачи здесь, со мной, ходят по пятам туда-сюда, моют, укладывают вещи, пьют из моей бутылки. Они повсюду – куда ни повернись. Стены, окна, зеркала, вода, ночь снаружи – всё полно ими. Я могу кричать о помощи, как может кричать сейчас Джованни, лёжа в своей камере. Никто не услышит. Я мог бы попытаться всё объяснить, как уже пытался Джованни. Мог бы просить о прощении – если бы был в состоянии назвать и понять своё преступление, если бы где-то существовало что-то или кто-то, в чьей власти было бы прощать.

Или нет. Было бы легче, если бы я мог почувствовать себя виновным. Но там, где кончается невиновность, кончается и вина.

Что бы я ни думал теперь об этом, но должен признаться: я любил его. Не думаю, что смогу когда-нибудь полюбить кого-то так же. И ещё – было бы много легче, если бы я не знал, что то, что Джованни почувствует, когда упадёт нож, – если почувствует что-либо, – будет облегчение.

Я брожу взад-вперёд по этому дому – взад-вперёд по всему дому. Я думаю о тюрьме. Задолго до того, как я встретил Джованни, я видел на вечеринке у Жака человека, знаменитого тем, что провёл половину своей жизни в тюрьме. Он написал об этом книгу, которая не понравилась тюремным властям, и получил за неё литературную премию<sup>40</sup>. Но жизнь этого человека была кончена. Он любил говорить, что, поскольку жить в тюрьме означает просто не жить, смертная казнь – это единственный милосердный приговор, который может вынести суд. Помню, я подумал тогда, что на самом деле он никогда не выходил из тюрьмы, она была для него единственной реальностью, и он не мог говорить ни о чём другом. Все его движения, даже прикуривание сигареты, были вороваты, и на чём бы он ни остановил взгляд – там вставала стена. Лицо его, цвет кожи вызывали ощущение темноты и сырости, и я чувствовал, что если разрезать его плоть, она окажется плотью гриба. Детально, любовно и ностальгически он описывал нам решётки окон, решётки дверей, смотровые глазки, стоящих в освещённых концах коридора надзирателей. В тюрьме три яруса, и всё в ней цвета ружейной стали. Всё в ней тёмное и холодное, кроме тех пятен света, в которых стоят тюремщики. Сам воздух постоянно напоминает об ударах кулаков по металлу, о возможности глухо и гулко барабанить – бум-бум, как о возможности спятить. Надзиратели передвигаются, ворчат, меряют шагами коридоры; их шаги вверх и вниз по лестницам гулко отзываются. Они одеты в чёрное, имеют при себе пистолеты, они пребывают в вечном страхе и едва осмеливаются проявить доброту. Тремя ярусами ниже, в

<sup>40</sup> Имеется в виду французский писатель Жан Жене (1910-1984)

центре тюрьмы бьётся её большое, холодное сердце, и там всегда всё в движении: заключённые из числа доверенных что-то развозят из кабинета в кабинет, выслушиваясь перед надзирателями ради пачки сигарет, выпивки и половых утех. Когда тюрьму наполняет ночь, отовсюду доносится шёпот, и каждый почему-то знает, что смерть войдёт сегодня в тюремный двор под утро. На заре, – до того как доверенные начнут развозить по коридорам мусорные баки с едой, – три человека в чёрном бесшумно пройдут по коридору, и один из них повернёт ключ в замочной скважине. Они крепко схватят кого-то и быстро поведут его по коридорам, сначала к священнику, потом – к той двери, что откроется лишь для него и позволит ему, возможно, мельком увидеть свет утра, перед тем, как его повалят на доску лицом вниз и нож сорвётся с высоты ему на шею.

Я думаю о величине камеры Джованни. Думаю, больше ли она его комнаты. Я знаю, что она холоднее. Думаю о том, один ли он или с двумя-тремя сокамерниками; может, он играет в карты или курит, разговаривает или пишет письмо (кому ему писать?), или ходит взад-вперёд. Думаю о том, знает ли он, что наступающее утро – последнее в его жизни. (Заклужённый обычно не знает; знает судья и сообщает родственникам и близким, но не приговорённому.) Думаю о том, заботит ли его это. Но знает или нет, заботится или нет, но всё равно боится. Есть ли кто в камере или нет, он всё равно один. Стараюсь представить его себе, стоящего ко мне спиной у тюремного окошка. Оттуда ему, возможно, виден противоположный корпус; но может, если он встанет на цыпочки, то увидит через высокую стену кусочек улицы. Не знаю, постригли его или у него длинные волосы, но думаю, что должны были постричь. Думаю, побрит ли он. И тогда тысячи мелочей, свидетельствующих о нашей близости и ставших её плодом, переполняют моё сознание. Я думаю, например, о том, не хочет ли он в уборную, смог ли он нормально поесть сегодня, потный он или сухой. Думаю о том, занимался ли с ним кто-нибудь любовью в тюрьме. И тогда меня начинает трясти, что-то трясёт меня сильно и сухо, как какую-то падаль в пустыне, и я понимаю, что мне хотелось бы, чтобы кто-то сжимал сегодня Джованни в своих объятиях. Хотелось бы, чтобы кто-то был рядом со мной. Я любил бы кого угодно всю эту долгую ночь, всю долгую ночь я вершил бы любовь с Джованни.

После того, как Джованни потерял работу, мы бездельничали целыми днями – бездельничали, как бездельничает скалолаз над пропастью, повиснув на потрескивающей верёвке. Я не написал отцу – откладывал со дня на день. Это было бы слишком решающим шагом. Я знал, что ему солгать, и знал, что эта ложь подействует, – только не знал, была ли это ложь. День за днём мы кисли в этой комнате, и Джованни снова занялся ремонтом. Ему по какой-то странной причине очень хотелось сделать книжные полки в стене, он расковырял стену до кирпичей и уже начал скалывать их. Это было нелёгкое занятие и совершенно безумное, но у меня не было ни сил, ни желания остановить его. В каком-то смысле он делал это для меня, чтобы доказать свою любовь. Ему хотелось, чтобы я остался с ним в этой комнате. Возможно, он пытался собственными силами удержать надвигающиеся стены, стараясь при этом их не обвалить.

Теперь – теперь, разумеется, мне кажется в этих днях прекрасным то, что было тогда такой пыткой. Тогда я чувствовал, что Джованни тянет меня вместе с собой на дно моря. Он не мог найти работу. Я понимал, что он особенно и не ищет, не может этого делать. Его изранили так жестоко, что взгляды посторонних людей въедались в него, как соль. Он был не в состоянии долго обходиться без меня. Я был единственным человеком на холодной, зелёной Божьей земле, кому до него было дело, кто понимал его слова и его молчание, чувствовал его руки и не держал ножа за спиной. Вся тяжесть его спасения лежала на мне, и мне это было невыносимо.

А деньги таяли – нет, исчезали, а не таяли – очень быстро. Джованни старался скрыть тревогу в голосе, когда спрашивал меня каждое утро:

- Ты пойдёшь сегодня в «Американ экспресс»?
- Конечно.
- Думаешь, деньги уже пришли?
- Не знаю.
- *Что* они там делают с твоими деньгами, в Нью-Йорке?

И всё-таки, всё-таки я не мог предпринять что-либо. Я отправился к Жаку и снова занял у него десять тысяч франков. Я сказал, что мы с Джованни переживаем трудный период, но что скоро всё наладится.

- Это очень мило с его стороны, – сказал Джованни.
- Он *может* иногда быть очень хорошим человеком.

Мы сидели на террасе кафе рядом с Одеоном. Я посмотрел на Джованни, и на мгновение мне пришла мысль, как было бы хорошо, если бы Жак избавил меня от него.

- О чём ты думаешь? – спросил Джованни.

В это мгновение я испугался, и ещё мне стало стыдно.

- Я думал о том, как было бы хорошо уехать куда-нибудь из Парижа.
- Куда бы ты хотел уехать?

– Не знаю. Куда угодно. Мне до смерти надоел этот город, – выпалил я вдруг с такой злостью, что мы оба удивились. – Я устал от этой груды древних камней и всех этих мерзких, самодовольных людей. До чего бы ты ни дотронулся здесь, всё рассыпается в прах у тебя в руках.

- Да, – сказал Джованни мрачно, – так оно и есть.

Он со страшной напряжённостью наблюдал за мной. Я заставил себя взглянуть на него и улыбнуться.

- А ты бы хотел уехать отсюда на какое-то время? – спросил я.

– Ох, – сказал он, всплеснув руками ладонями вперёд в знак шутивного смирения, – я поеду туда, куда поедешь ты. Я не отношусь к Парижу так пристрастно, как ты вдруг стал. И никогда его особенно не любил.

– Может, – начал я, едва понимая, что говорю, – мы могли бы отправиться в деревню. Или в Испанию.

- А, – откликнулся он, – ты скучаешь по своей любовнице.

Я был и виноват, и раздражён, полон любви и боли. Мне хотелось его ударить и сжать его в своих объятиях.

– Это не причина, чтобы ехать в Испанию, – сказал я угрюмо. – Мне просто хочется увидеть эту страну, вот и всё. Здесь всё так дорого.

– Ладно, – просиял он, – поедем в Испанию. Может быть, она напомнит мне Италию.

- А может, тебе больше хочется в Италию? Хотел бы ты съездить домой?

Он улыбнулся.

– Не думаю, что у меня там остался дом... Нет, не хочу в Италию. Наверно, по тем же причинам тебя не тянет в Штаты.

- Но я *поеду* в Штаты, – вырвалось у меня.

Он взглянул на меня.

- Я хочу сказать, что когда-нибудь туда поеду.

– Когда-нибудь... Всё плохое обязательно случится – когда-нибудь.

- А почему это плохо?

Он улыбнулся.

– Потому что ты поедешь домой лишь для того, чтобы увидеть, что это больше не дом. Тогда тебе действительно станет не по себе. Пока ты здесь, можно думать: «Когда-нибудь я поеду домой».

Он покрутил мне палец и улыбнулся.

- N'est-ce pas?
- Неоспоримая логика, – ответил я. – Ты хочешь сказать, что у меня есть дом до тех пор, пока я туда не еду?
- Он рассмеялся.
- А что, разве не так? У тебя нет дома, пока ты не уехал, а потом, когда покинешь его, то уже не можешь вернуться назад.
- Кажется, я уже слышал эту песенку.
- Ах, да? – сказал Джованни. – И услышишь её, конечно, ещё не раз. Это одна из тех песенок, которые кто-то где-то всегда будет петь.
- Мы встали из-за столика и медленно зашагали.
- А что будет, – спросил я праздным тоном, – если заткнуть уши?
- Он хранил молчание довольно долго. Потом сказал:
- Иногда ты напоминаешь мне того, кто хочет попасть в тюрьму, чтобы не угодить под машину.
- Это, – ответил я резко, – скорее подходит к тебе, чем ко мне.
- Что ты хочешь сказать?
- Я говорю о комнате, об этой мерзкой комнате. Почему ты похоронил себя в ней так надолго?
- Похоронил себя? Прости, mon cher Américain, но Париж это не Нью-Йорк, и он не набит дворцами для таких парней, как я. Думаешь, мне следовало бы жить скорее в Версале?
- Но должны же быть, должны быть другие комнаты.
- Mais ça ne manque pas, les chambres<sup>41</sup>. Мир полон комнат – просторных комнат, маленьких комнат, круглых комнат и квадратных, комнат высоких и низких – любых комнат! В какой комнате ты бы хотел поселить Джованни? Сколько, ты думаешь, заняло у меня времени найти эту комнату? И с каких пор, с каких пор, – он остановился и ткнул меня пальцем в грудь, – ты так ненавидешь эту комнату? С каких пор? Со вчерашнего дня или с самого начала? Dis-moi<sup>42</sup>.
- Посмотрев на него, я запнулся.
- Я не ненавижу её. Я... я не хотел тебя огорчить.
- Он уронил руки. Глаза у него расширились. Он засмеялся.
- Огорчить меня? Теперь я тебе чужой, раз ты говоришь со мной так, с такой американской вежливостью.
- Я только хотел сказать, малыш, что мне хотелось бы оттуда уехать.
- Можем уехать. Завтра! Давай переберёмся в отель. Ты этого хочешь? Le Crillon peut-être?<sup>43</sup>
- Я молча вздохнул, и мы пошли дальше.
- Я знаю, – взорвался он через мгновение, – знаю! Ты хочешь уехать из Парижа, хочешь уехать из моей комнаты, а?! У тебя нет сердца. Comme tu es méchant!<sup>44</sup>
- Ты не понимаешь меня, – сказал я. – Не понимаешь.
- Он угрюмо улыбнулся сам себе.
- J'espère bien<sup>45</sup>.
- Позже, когда мы вернулись в комнату и принялись складывать в мешок вынутые из стены кирпичи, он спросил меня:
- Это твоя девушка... Ты слышал о ней что-нибудь в последнее время?
- В последнее время ничего, – ответил я, не поднимая глаз. – Но она может теперь появиться в Париже в любой момент.

<sup>41</sup> Их хватает, комнат (фр.)

<sup>42</sup> Скажи мне (фр.)

<sup>43</sup> В «Крийон», может быть? (фр.) (Дорогой отель на площади Согласия.)

<sup>44</sup> Какой ты недобрый! (фр.)

<sup>45</sup> Очень надеюсь (фр.)



Он встал. Он стоял посередине комнаты, под самой лампочкой и смотрел на меня. Я тоже встал, слегка улыбаясь, но в то же время чего-то смутно испугавшись.  
– Viens m’embrasser<sup>46</sup>, – сказал он.

Я отдавал себе отчёт в том, что у него в руке кирпич, так же как и у меня. Было по-настоящему похоже на то, что если я не подойду, мы заберём друг друга этими кирпичами насмерть.

И всё же я не смог сразу сдвинуться с места. Мы уставились друг на друга сквозь отделявшее нас узкое, полное опасности пространство, которое, казалось, ревело, как пламя.

– Подойди, – сказал он.

Я выронил кирпич и приблизился к нему. Через мгновение я услышал, как упал кирпич и из его руки. В такие минуты я чувствовал, что мы совершаем более долгое, менее очевидное, но непрерывное убийство.

## 4

Наконец пришла долгожданная весточка от Хеллы, сообщавшая о дне и часе её приезда в Париж. Джованни я ничего не сказал и отправился один на вокзал встречать её.

Я надеялся, что как только увижу её, что-то мгновенное и окончательное случится со мной, что-то, что покажет мне, где моё место и где я был раньше. Но ничего не произошло. Я сразу узнал её – до того, как она меня заметила. Она была одета в зелёное, волосы немного короче прежнего, лицо загорелое, и на нём та же сияющая улыбка. Я любил её с той же силой, что и раньше, но я не знал, с какой.

Увидев меня, она замерла на платформе, ударила в ладоши, по-мальчишески широко расставив ноги и улыбаясь. Минуту мы просто стояли, уставившись друг на друга.

– Eh bien, – сказала она, – t’embrasse pas ta femme?<sup>47</sup>

Тогда я обнял её, и что-то произошло со мной. Я был невероятно счастлив видеть её. Казалось, мои руки, заключающие в себе Хеллу, были домом, который радушно её встречает. Она очень удобно, как всегда, помещалась в моих руках, и, потрясённый этим, я понял, что они оставались пустыми всё то время, пока её не было.

Я крепко сжимал её под высоким, тёмным навесом, в людской толчее, рядом с пытящим паровозом. Она пахла ветром и морем, и простором, и я чувствовал, что её фантастически живое тело готово сдаться.

Когда она отстранилась, у неё в глазах стояли слёзы.

– Дай-ка я на тебя погляжу, – сказала она.

Она держала меня вытянутыми руками, рассматривая моё лицо.

– Выглядишь прекрасно. Я так счастлива тебя видеть.

Я коснулся губами её носа и понял, что выдержал первый экзамен. Я взял её чемоданы, и мы направились к выходу.

– Как съездила? Как Севилья? Понравилась коррида? Ты не познакомилась с каким-нибудь тореадором? Расскажи мне всё.

Она рассмеялась.

– Всё – это слишком длинный список. Дорога была ужасная. Я ненавижу поезда. Хотела прилететь, но я уже летала однажды испанским самолётом и поклялась никогда в жизни больше этого не делать. Он так затрещал, мой милый, посреди полёта, как старый «Ти-Форд» (может, он когда-то и был «Ти-Фордом»), что я только молилась и глушила бренди. Я была уверена, что земли мне больше не видать.

<sup>46</sup> Поцелуй меня (фр.)

<sup>47</sup> Что же ты не целуешь свою жену? (фр.) («Жена» и «женщина» по-французски то же слово.)

Мы вышли на улицу. Хелла рассматривала всё с восторгом – кафе, самодовольных людей, шумный поток автомобилей, регулировщика в синем плащенике, с белым сверкающим жезлом в руке.

– Возвращаться в Париж, – сказала она после недолгого молчания, – всегда так чудесно, откуда бы ты ни приехал.

Мы сели в такси, и шофёр, сделав широкий отчаянный вираж, вырлил в самую гущу машин.

– Мне кажется, что даже если приехать сюда со страшным горем на душе, то с ним можно как-то потихоньку примириться.

– Будем надеяться, – сказал я, – что никогда не подвергнем Париж этому тесту.

Её улыбка была одновременно лучистой и меланхоличной.

– Будем надеяться.

Она неожиданно взяла мою голову в свои руки и поцеловала меня. Её взгляд заключал в себе вопрос, и я знал, что она сгорает от желания сразу же получить на него ответ. Но я ещё не был готов к ответу. Я прижал её к себе и, закрыв глаза, поцеловал. Всё было между нами по-прежнему, и в то же время всё было не так.

Я решил про себя не думать о Джованни, не беспокоиться о нём – по крайней мере этим вечером, когда ничто не должно разделять нас с Хеллой. Но я прекрасно знал, что это невозможно: он уже разделял нас. Я старался не думать о нём, сидя один в его комнате и удивляясь, что так надолго там задержался.

И вот мы уже сидели в номере у Хеллы на улице Турнон и потягивали фундадор<sup>48</sup>.

– Слишком сладко. Это то, что пьют в Испании?

– Я не видела ни одного испанца, который бы это пил, – сказала она со смехом. – Они пьют вино. Я пила джин с содовой. В Испании мне почему-то казалось, что это полезно.

Она снова рассмеялась.

Я целовал её, прижимая к себе и стараясь найти прежний путь в неё, будто она была знакомой комнатой без света, где я на ощупь искал выключатель. И ещё этими поцелуями я пытался отсрочить тот момент, который сумеет или не сумеет соединить меня с ней. Думаю, она чувствовала, что эта неуловимая неопределённость между нами создавалась ею и зависела от неё. Она помнила, что последнее время я писал ей всё реже и реже. В Испании почти до самого отъезда это, возможно, не так её беспокоило – по крайней мере до тех пор, пока она не решила испугаться, подумав, не пришёл ли я к решению, противоположному её собственному. Наверно, она позволила мне слоняться одному слишком долго.

По своей натуре она была прямолинейной и нетерпеливой: её пугало, когда что-то было неясно. И, тем не менее, она заставляла себя ждать какого-то слова или жеста с моей стороны, твёрдо удерживая в руках вожжи своего жгучего желания.

Я пытался принудить её отпустить поводья. Я бы не мог разговориться, пока не овладел ею. Через Хеллу я надеялся выжечь в себе образ Джованни и ощущение его прикосновения – надеялся укротить огонь огнём. Но смысл того, что я совершал, ставил меня в тупик. В конце концов она спросила с улыбкой:

– Была ли я в отъезде слишком долго?

– Не знаю, – ответил я. – Но это было долго.

– Мне было очень одиноко всё это время, – неожиданно призналась она.

Она слегка отстранилась от меня, лёжа на боку и глядя в сторону окна.

– Я чувствовала себя неприкаянной, как теннисный мячик – скачущий, скачущий, и начала задумываться, куда приземлюсь. Начинала понимать, что где-то я уже прозевала лодку.

---

<sup>48</sup> Сорт испанского бренди.

Она взглянула на меня.

– Ты знаешь, о какой лодке я говорю. Там, в Испании, снимают такой фильм. Когда её пропустишь, это всего лишь лодка, но когда она приблизится, это целый корабль.

Я всматривался в её лицо. Оно было таким неподвижным, как никогда прежде.

– Тебе понравилась Испания, – спросил я нервно, – хоть немного?

Она нетерпеливо провела рукой по своим волосам.

– Да, конечно. Мне она нравится, как же иначе? Это прекрасная страна. Я только не понимаю, что я там делала? И я начинаю немного уставать оттого, что оказываюсь где-то без всякой причины на то.

Я закурил и улыбнулся.

– Но ты же уехала в Испанию, чтобы побыть без меня, помнишь?

Она улыбнулась и погладила мне щеку.

– Это было не очень хорошо по отношению к тебе, а?

– Но очень честно.

Я встал и немного отошёл от неё.

– Ты о многом передумала, Хелла?

– Я же писала тебе. И ты не помнишь?

На какое-то мгновение всё застыло. Даже слабый уличный шум перестал доноситься. Стоя к ней спиной, я чувствовал её взгляд. Знал, что она ждёт – как всё вокруг было в ожидании.

– Мне не всё было ясно в этом письме, – сказал я и подумал: «Может, мне удастся выкрутиться, ничего ей не рассказав». – Это было так неожиданно, и я не был уверен, рада ты или жалеешь, что связалась со мной.

– Да, но мы всегда всё делали наскоком. Я не могла сказать об этом по-другому. Мне не хотелось связывать тебя, понимаешь?

Я пытался внушить ей, что она приняла меня из отчаяния: не столько потому, что хотела меня, сколько потому, что я был под рукой. Но я не мог сказать об этом и знал, что, хотя всё так и было, она этого уже не поймёт.

– Но, возможно, – начала она осторожно, – ты уже не чувствуешь того, что раньше. Пожалуйста, скажи, если это так.

Она подождала немного моего ответа и продолжила:

– Понимаешь, я вовсе не такая эмансипированная, какой пытаюсь казаться. Скорее всего мне просто нужен мужчина, который возвращался бы домой каждый вечер. Я хочу спать с мужчиной, от которого мне не было бы страшно забеременеть. Да чего там! Я хочу забеременеть. Хочу рожать детей. На самом деле я только на это и способна.

Она помолчала.

– Хочешь ли этого ты?

– Да. Мне всегда этого хотелось.

Я повернулся к ней так стремительно, будто меня тянули крепкие руки, державшие меня за плечи. В комнате темнело. Она наблюдала за мной с кровати. Губы у неё были приоткрыты, глаза горели. Невероятно резко ощутил я своё и её тело. Я подошёл и положил голову ей на грудь. Мне хотелось прижаться к ней, спрятаться и замереть. Но я чувствовал, что из самой глубины её существа рвётся желание распахнуть ворота обнесённого крепкими стенами града и – впустить туда короля-победителя.

*Дорогой папа, – писал я, – у меня больше нет от тебя секретов: я встретил девушку и хочу на ней жениться. Не писал тебе об этом не потому, что секретничал, а просто не знал, захочет ли она выйти за меня замуж. Но она, бедное и неразумное существо, решила-таки пойти на такой риск, и нам хотелось бы*

связать себя этими узами уже здесь, а потом без спешки вернуться домой. Не бойся, она не француженка (я знаю, что ты ничего не имеешь против французов; ты просто думаешь, что они лишены наших добродетелей, которых, должно быть, заметишь, у них действительно нет). Так или иначе, Хелла (а зовут её Хелла Линкольн, родом из Миннеаполиса, где у неё до сих пор живут родители: отец – корпоративный адвокат, а мать – просто маленькая женщина) – Хелла хочет провести наш медовый месяц здесь, и излишне объяснять, что её желание для меня закон. Так вот. Пришли своему любящему сыну что-то из его с таким трудом заработанных денег. *Tout de suite*. Что означает по-французски *pronto*<sup>49</sup>.

Хелла (по фотографии о ней вряд ли можно судить) приехала сюда несколько лет назад, чтобы изучать живопись. Потом, когда она поняла, что она никакой не художник и уже готова была броситься в Сену, мы и встретились. Всё остальное, как говорится, уже принадлежит истории. Уверен, что ты полюбишь её, папа, и что она полюбит тебя. Из меня она уже сделала очень счастливого человека.

Хелла встретила с Джованни случайно, на третий день после своего возвращения в Париж. Все эти дни я не видел его и не упоминал его имени.

Мы бродили по городу весь день, и весь день Хелла, с необычайной для неё настойчивостью, говорила об одном и том же – о женщинах. Она утверждала, что быть женщиной очень трудно.

– Не понимаю, почему это так тяжело. По крайней мере, если у неё есть мужчина.

– Об этом и речь, – сказала она. – Тебе никогда не приходило в голову, что необходимость этого условия унижительна?

– Брось, пожалуйста. Кажется, это не унизило ни одну из встреченных мною женщин.

– Потому что ты никогда не пытался понять ни одну из них в этом отношении.

– Нет, конечно. Надеюсь, что и они об этом не думали. А почему думаешь ты? В чём *твоя* изюминка?

– У меня нет *изюминки*, – сказала она, мурлыкая какую-то игривую мелодию Моцарта. – Вообще нет изюминки. Но действительно трудно оказаться на милости какого-то пузатого, небритого незнакомца лишь для того, чтобы стать собой.

– Это мне не очень по душе. Когда это я был пузатым? Или незнакомцем? Может, и правда, что мне следует побриться, но ведь это *твоя* вина: я не мог от тебя оторваться.

Я улыбнулся и поцеловал её.

– Ладно, – сказала она, – *теперь* ты не чужой. Но когда-то ты был чужим, и я уверена, что ещё будешь – и много раз.

– Если на то пошло, и ты ещё будешь чужой для меня.

Она взглянула на меня с быстрой и яркой улыбкой.

– Думаешь, буду?.. Я только хотела сказать, что быть женщиной означает, что мы можем теперь пожениться и оставаться вместе пятьдесят лет, и я могу оставаться чужой тебе все эти годы, каждую секунду, а ты никогда об этом не узнаешь.

– А если бы я был чужим, ты бы об этом знала?

– Думаю, что для женщины мужчина всегда незнакомец. И есть что-то ужасное в том, чтобы оставаться на милости чужого человека.

– Но мужчины тоже остаются на милости женщин. Ты никогда об этом не задумывалась?

– Ну да! Мужчины могут это себе позволить, им даже нравится эта мысль, поскольку она поощряет их женоненавистничество. Но если определённый *мужчина* попадает во власть определённой *женщины*, он каким-то образом перестаёт быть мужчиной. И тогда дама уже окончательно в ловушке.

<sup>49</sup> Без промедления (исп.-ам.)

– Ты хочешь сказать, что я должен стараться не оказаться в твоей власти? А как насчёт тебя? – спросил я со смехом. – Хотел бы я увидеть тебя в *чьей-либо* власти.

– Смейся сколько хочешь, но в этом что-то есть. Я начала понимать это в Испании – то, что я не свободна, что не могу быть свободной, пока не привяжусь – нет! – не *посвящу* себя кому-нибудь.

– Кому-нибудь или *чему-нибудь*?

Она помолчала.

– Не знаю. Я начинаю думать, что женщины привязываются к *чему-нибудь* на самом деле из-за отсутствия выбора. Они бросили бы всё, если бы только могли, – ради мужчины. Конечно, они не признаются в этом, и большинство не решится потерять то, что у них есть. Но думаю, что это их убивает... Наверно, я хочу сказать, – добавила она после паузы, – что это убило бы *меня*.

– Чего ты хочешь, Хелла? Что с тобой такое происходит, что наводит на эти мысли?

Она засмеялась.

– Это не то, что что-то *происходит*. И не то, что я чего-то хочу. А то, что я стала *твоей*. Так что теперь я буду тебе послушным и любящим слугой.

Мне стало не по себе. Я тряхнул головой, изображая недоумение.

– Что ты такое говоришь?

– Как что? Я говорю о своей жизни. Теперь у меня есть ты, чтобы заботиться о тебе, кормить, мучиться из-за тебя, надувать тебя и любить: у меня есть ты, чтобы тебя терпеть. С этих пор у меня будет сколько угодно времени, чтобы сетовать на долю женщины. Но меня уже не будет ужасать, что я перестану *ею* быть.

Она посмотрела мне в глаза и засмеялась.

– О, я найду себе *другие* занятия! – воскликнула она. – Останусь интеллигентной и буду читать, спорить и *думать* и всё такое прочее, и буду изо всех сил стараться не думать *твоими* мыслями. А ты будешь доволен, потому что всё это приведёт тебя к мысли, что у меня просто ограниченный женский ум. И, если будет на то Божья воля, ты станешь любить меня сильнее и сильнее, и мы будем довольно счастливы.

Она снова рассмеялась.

– Не морочь себе этим голову, милый. Предоставь это мне.

Её весёлость была заразительной, и я опять встряхнул головой и рассмеялся вместе с ней.

– Ты просто прелесть, – сказал я. – Я тебя совсем не понимаю.

Она продолжала смеяться.

– Ну вот и прекрасно, – сказала она. – Мы уже плаваем в этом, как рыба в воде.

Мы проходили мимо книжного магазина, и она остановилась.

– Можем зайти сюда на минутку? Я ищу одну книгу. Довольно тривиальную, – добавила она уже в магазине.

Было забавно наблюдать, как она расспрашивает хозяйку магазина. Я лениво поплёлся к самым дальним полкам, где спиной ко мне стоял мужчина, перелистывающий журнал. Когда я остановился рядом с ним, он закрыл журнал, положил его и повернулся. Мы сразу узнали друг друга. Это был Жак.

– Tiens!<sup>50</sup> – воскликнул он. – Вот ты где! А мы уже начали думать, что ты вернулся в Америку.

Я засмеялся.

– Я? Нет, я всё ещё в Париже. Просто был занят.

Потом, заподозрив что-то ужасное, я спросил:

<sup>50</sup> Смотри-ка! (фр.)

– Кто это *мы*?

– Как кто? – удивился Жак, улыбаясь с настойчивой двусмысленностью. – Твой малыш. Кажется, ты бросил его одного в этой комнате без всякой еды, без денег, даже без сигарет. В конце концов он упросил консьержку позволить ему воспользоваться телефоном в долг и позвонил мне. У бедного парня был такой голос, будто он только что вынул голову из газовой плиты. Если бы, – заметил он со смехом, – у него *была* газовая плита.

Мы посмотрели друг на друга. Он умышленно хранил молчание. Я не знал, что сказать.

– Я бросил какие-то продукты в машину, – продолжал Жак, – и помчался к нему. Он утверждал, что тебя надо искать в Сене. Но я успокоил его, сказав, что он знает американцев не так хорошо, как я, и что ты не утопился. Ты просто исчез, чтобы – подумать. Теперь я вижу, что был прав. Ты размышлял так много, что теперь должен знать, что думали другие до тебя. В особенности же, – заключил он, – тебе надо потрудиться почитать что-то из маркиза де Сада.

– Где сейчас Джованни? – спросил я.

– Я всё-таки вспомнил название отеля, в котором остановилась Хелла. Джованни сказал, что ты ожидал её приезда со дня на день, и я дал ему блестящую идею позвонить тебе туда. Он только что вышел для этого. И сейчас вернётся.

Хелла подошла к нам с книгой в руках.

– Вы уже встречались, – сказал я в замешательстве. – Ты помнишь Жака, Хелла?

Она помнила его, как помнила и то, что он ей не нравился. Вежливо улыбнувшись, она протянула руку.

– Как поживаете?

– Je suis ravi, mademoiselle<sup>51</sup>, – промолвил Жак.

Он знал, что Хелла его не любит, и это забавляло его. Чтобы подогреть её неприязнь и ещё потому, что действительно ненавидел меня в эту минуту, он низко нагнулся к протянутой руке и в одно мгновение стал вызывающе и отвратительно женственным. Я наблюдал за его маневром, как наблюдают за приближением неминуемой катастрофы с расстояния во много миль. Он игриво повернулся ко мне.

– Дэвид прячется от нас, – промямлил он, – с тех пор, как вы вернулись.

– Да? – сказала Хела, подойдя ко мне и взяв меня за руку. – Это очень дурно с его стороны. Я никогда бы этого не допустила, если бы знала, что мы прячемся. Хотя он никогда мне ничего не говорит.

Она улыбнулась. Жак посмотрел на неё.

– Без сомнения. Ему хватает с вами более захватывающих тем, чем то, почему он скрывается от старых друзей.

Мне хотелось во что бы то ни стало уйти, пока не пришёл Джованни.

– Мы ещё не ужинали, – сказал я, пытаюсь улыбнуться. – Надеюсь, ещё увидимся.

Я сознавал, что этой улыбкой умоляю его сжалиться надо мной.

Но в это мгновение дверной колокольчик, извещающий о приходе каждого покупателя, прозвенел, и Жак сказал:

– А вот и Джованни.

И действительно, я чувствовал, что он неподвижно стоит у меня за спиной и смотрит на нас, чувствовал, как Хелла вздрогнула, как сжалась всем своим существом, что – при всём её самообладании – не могло не отразиться у неё на лице. Джованни заговорил низким от бешенства, облегчения и невыплаканных слёз голосом.

---

<sup>51</sup> Вельма польщён, мадемуазель (фр.)

– Где ты был? – крикнул он. – Я думал, ты погиб! Думал, что тебя сбила машина, что тебя бросили в реку. Что ты делал все эти дни?

Как ни странно, я нашёл в себе силы улыбнуться. Это спокойствие потрясло меня самого.

– Джованни, – сказал я, – я хочу представить тебе мою невесту. Мадемуазель Хелла. Мосье Джованни.

Он заметил её до того, как закончил кричать, и теперь дотронулся до её руки с окаменелой, потрясённой вежливостью и уставился на неё своими чёрными неподвижными глазами, будто никогда до этого не встречал женщины.

– Enchanté, mademoiselle<sup>52</sup>, – произнёс он, и голос его был холодным и мёртвым. Он быстро взглянул на меня, потом снова на Хеллу. На какое-то время мы все четверо застыли так, будто позировали портретисту.

– Думаю, – сказал Жак, – что, поскольку теперь мы оказались все вместе, нам следует чего-нибудь выпить. Очень быстро, – обратился он к Хелле, предупреждая её попытку вежливого отказа и беря её за руку. – Старые друзья сходятся вместе не каждый день.

Он заставил нас выйти таким образом, что они с Хеллой оказались сзади, а мы с Джованни впереди. Колокольчик порочно звякнул, когда Джованни открыл дверь. Вечерний воздух ударил нас подобно языку пламени. Мы пошли от Сены в сторону бульвара.

– Если я решил уехать, – сказал Джованни, – то хотя бы говорю об этом консьержке, чтобы она знала, куда пересылать почту.

Я сразу вспыхнул, с досадой. Я заметил, что он побрит и что на нём чистая белая рубашка с галстуком – галстуком, явно принадлежащим Жаку.

– Не знаю, на что ты жалуешься. Ты же сразу смекнул, куда пойти.

Но он взглянул на меня так, что гнев мой улетучился и мне захотелось плакать.

– У тебя нет сердца, – сказал он. – Tu n'est pas chic du tout<sup>53</sup>.

Больше он не сказал ни слова, и мы продолжали идти молча. Позади нас я слышал шёпот Жака. На углу мы остановились и подождали, пока они нас догонят.

– Знаешь, дорогой, – сказала Хелла подходя, – ты оставайся и выпей, если хочешь. Я не могу, правда не могу: я плохо себя чувствую.

Она повернулась к Джованни.

– Пожалуйста, простите меня, но я только что вернулась из путешествия по Испании и едва успела присесть с того момента, как сошла с поезда. В другой раз, обещаю. Но сейчас мне действительно надо выспаться.

Она улыбнулась и протянула руку, но он, казалось, не видел этого.

– Я провожу Хеллу в отель и вернусь, – сказал я. – Только скажите, где вы будете.

Джованни грубовато рассмеялся.

Всё в том же квартале, понимаешь? Легко найти.

– Мне очень жаль, – сказал Жак Хелле, – что вам нездоровится. В следующий раз, надеюсь. Он наклонился к её всё ещё безотносительно протянутой руке и поцеловал её во второй раз. Потом выпрямился и посмотрел на меня.

– Как-нибудь ты должен привести Хеллу поужинать у меня, – сказал он и сделал гримасу. – Вообще не следует прятать от нас свою невесту.

– Вот именно, – сказал Джованни. – Она очень мила. А мы, – продолжал он, улыбувшись Хелле, – тоже постараемся быть милыми.

– Ладно, – сказал я, беря Хеллу под руку, – увидимся позже.

– Если меня не будет, – сказал Джованни нагло и в то же время чуть не плача, – когда вернёшься, значит я дома. Ты ещё помнишь, где это?.. Недалеко от зоопарка.

<sup>52</sup> Очень рад, мадемуазель (фр.)

<sup>53</sup> Ты совсем не добрый (фр.)

– Помню, – сказал я и начал пятиться, словно выбираясь из клетки. – Я скоро вернусь. *A tout à l'heure*<sup>54</sup>.

– *A la prochaine*<sup>55</sup>, – откликнулся Джованни.

Я чувствовал, как они смотрят нам в спину. Хелла долго молчала. Возможно потому, что она боялась, как и я, сказать что-либо.

– Терпеть не могу этого человека. У меня от него мурашки по коже.

Немного помолчав, она добавила:

– Я не знала, что вы ты часто виделись, пока меня не было.

– Вовсе нет.

Чтобы занять чем-то руки и спрятаться на мгновение, я остановился и прикурил сигарету. Я чувствовал на себе её взгляд. Но у неё не было подозрений: она была просто растеряна.

– А кто такой этот Джованни? – спросила она, когда мы снова зашагали, и тихо засмеялась. – Мне только сейчас пришло в голову, что я даже не спросила тебя, где ты жил. Ты живёшь с ним?

– Мы вместе снимали комнату служанки на окраине города.

– Тогда это было нехорошо с твоей стороны, – сказала Хелла, – уйти так надолго и даже не предупредив.

– Боже мой, да мы всего лишь снимали вместе одну комнату. Откуда я знал, что он начнёт искать меня в Сене только из-за того, что я ушёл на пару ночей?

– Жак сказал, что ты оставил его там без денег, без сигарет, без ничего, и даже не сказал ему, что будешь со мной.

– Я много чего не говорил Джованни. Но до этого он никогда не устраивал таких сцен. Думаю, он просто выпил. Я поговорю с ним потом.

– Ты хочешь к ним вернуться?

– Знаешь, если я и не вернусь, то всё равно зайду как-нибудь в комнату. Я всё равно собирался это сделать на днях, – сказал я и улыбнулся. – Мне нужно побриться.

Хелла вздохнула.

– Я не хочу, чтобы твои друзья на тебя обижались. Ты должен вернуться и выпить с ними. Ты же обещал.

– Может, да, а может, нет. Знаешь, я не женат на них.

– То, что ты собираешься жениться на *мне*, не означает, что ты не должен сдерживать данное друзьям слово. Но это и не означает, – добавила она резко, – что они *должны* мне нравиться.

– Хелла, я прекрасно это понимаю.

Мы свернули с бульвара к отелю.

– Он всё слишком близко принимает к сердцу, да? – спросила она.

Я уставился на тёмную массу Сената, в который упиралась наша тёмная, слегка идущая в гору улица.

– Ты о ком?

– Джованни. Очевидно, что он сильно привязан к тебе.

– Он же итальянец. А итальянцы ведут себя очень театрально.

– Да, но этот, – сказала она со смехом, – нечто особое даже для Италии! Как давно ты с ним живёшь?

– Пару месяцев.

Я бросил сигарету под ноги.

– Понимаешь, пока тебя не было, у меня кончились деньги (я и сейчас их жду), и я переехал к нему, потому что это было дешевле. В то время у него была работа, и большую часть времени он проводил у своей любовницы.

<sup>54</sup> Пока (фр.)

<sup>55</sup> До следующего раза (фр.)



– Да? У него есть любовница?

– Была, – сказал я. – И работа была. Он потерял и то и другое.

– Бедный парень, – сказала она. – Неудивительно, что он выглядит таким потерянным.

– Всё устроится, – отрезал я.

Мы подошли к дверям отеля. Она позвонила.

– Он очень дружен с Жаком? – спросила она.

– Возможно. Но не настолько, чтобы удовлетворить Жака.

Она рассмеялась.

– Меня всегда обдаёт ледяным ветром, – сказала она, – когда я нахожусь в присутствии человека, который не любит женщин так, как не любит их Жак.

– Ну тогда будем держать его на расстоянии от тебя. Мы ведь не хотим, чтобы холодные ветра обдували эту девушку.

Я поцеловал её в кончик носа. В этот момент где-то внутри отеля послышался шум, и дверь, резко дёрнувшись, отворилась сама по себе. Хелла лукаво глянула в темноту.

– Я никогда не знаю, *осмелюсь ли* войти туда.

Она посмотрела на меня.

– Ну что? Хочешь чего-нибудь выпить у меня до того, как вернёшься к друзьям?

– Ну да.

Мы вошли на цыпочках в отель, тихонько притворив за собою дверь. Я наконец нащупал *minuterie*<sup>56</sup>, и тусклый жёлтый свет разлился над нами. Тут раздался совершенно нечленораздельный крик, обращённый к нам, и Хелла выкрикнула в ответ свою фамилию, стараясь произнести её на французский лад. Пока мы поднимались по лестнице, свет выключился, и мы начали хихикать, как дети. Мы не могли найти выключатель ни на одной из лестничных площадок, и не знаю, почему это нас так рассмешило, но мы, цепляясь друг за друга, покатывались со смеху всю дорогу до номера Хеллы на последнем этаже.

– Расскажи мне о Джованни, – попросила она намного позже, когда мы, лёжа в кровати, наблюдали, как чёрная ночь напирала на её плотные белые шторы. – Он меня заинтересовал.

– Довольно бестактно говорить об этом сейчас, – сказал я. – И какого чёрта он так тебя заинтересовал?

– Я имею в виду, кто он такой? О чём он думает? И откуда у него такое лицо?

– А что у него с лицом?

– Ничего. Он очень красивый на самом деле. Но у него в лице есть что-то такое как бы старомодное.

– Спи давай, – сказал я. – Ерунду несёшь.

– А как ты его встретил?

– Ну в баре во время ночной пьянки, среди множества других людей.

– А Жак там был?

– Не помню. Думаю, да. Кажется, он познакомился с Джованни в тот же вечер.

– А почему ты пошёл к нему жить?

– Я же говорил тебе. У меня не было ни гроша, а у него была эта комната...

– Но это не могло быть *единственной* причиной.

– Ну, значит, – сказал я, – он мне понравился.

– А теперь он тебе больше не нравится?

– Джованни мне очень симпатичен. Сегодня ты видела его не в лучшей форме, но вообще он очень хороший человек.

Я рассмеялся. Под прикрытием ночи, поощрённый близостью Хеллы и своим собственным телом, защищённый беспечным тоном своего голоса, я добавил:

<sup>56</sup> Выключатель с реле времени.

- По-своему я даже люблю его. Правда.
  - Кажется, он находит странной твою манеру демонстрировать это.
  - Ну, знаешь, здесь люди ведут себя не так, как мы. Для них гораздо важнее манеры. Ничего не поделаешь. Я просто не умею всего этого.
  - Да, – сказала она глубокомысленно, – я это заметила.
  - Что заметила?
  - Парни здесь совершенно не стесняются демонстрировать свою близость. Сначала это шокирует. Потом начинаешь думать, что это даже хорошо.
  - Это *и есть* хорошо, – сказал я.
  - Знаешь, мне кажется, мы должны пригласить Джованни на ужин или что-нибудь такое в один из этих дней. В конце концов, он как бы спас тебя.
  - Хорошая идея, – сказал я. – Не знаю, чем он сейчас занят, но думаю, он найдёт свободный вечерок.
  - Он часто слоняется с Жаком?
  - Нет, не думаю. Должно быть, он случайно нарвался на него сегодня.
- Я помолчал.
- Я начинаю думать, – сказал я осторожно, – что парням, вроде Джованни, приходится туго. Здесь, знаешь, не земля обетованная, и ничего хорошего им не светит. Джованни беден. Я хочу сказать, что он из бедной семьи, и вряд ли у него что-то получится. Что касается того, что он *умеет*, конкуренция слишком жестокая. Тех грошей, что они получают, недостаточно, чтобы обеспечить себе хоть какое-то будущее. Поэтому многие из них бродят по улицам, продают себя, становятся бандитами и бог знает чем ещё.
  - Как холодно, – сказала она, – в этом Старом Свете.
  - Знаешь, в Новом тоже довольно зябко, – сказал я. – На свете вообще холодно.

Точка.

- Она рассмеялась.
- Но мы – у нас есть любовь, чтобы согреться.
  - Мы не первые, кто думал так, лёжа в кровати.
- И всё-таки мы лежали молча, и не двигаясь, в объятиях друг друга.
- Хелла, – сказал я наконец.
  - Да?
  - Хелла, когда придут деньги, давай уедем отсюда.
  - Уедем? А куда ты хочешь ехать?
  - Всё равно. Только прочь отсюда. Меня тошнит от Парижа. Хочу отдохнуть от него немного. Поедем на юг. Может, там солнце светит.
  - Так мы поженимся на юге?
  - Хелла, поверь мне, я не в состоянии делать что-либо или принимать решения, или даже различать ясно вещи, пока мы не уедем из этого города. Я не хочу, чтобы мы поженились здесь, и вообще не хочу здесь думать о браке. Давай поскорее уберёмся отсюда.
  - Я не знала, что у тебя такое настроение, – сказала она.
  - Я месяцами оставался в комнате Джованни, – сказал я, – и больше мне этого не выдержать. Я должен уйти оттуда. Прошу тебя.
- Она нервно засмеялась и слегка отодвинулась от меня.
- Слушай, я просто не понимаю, что общего между тем, чтобы покинуть комнату Джованни и оставить Париж.
- Я вздохнул.
- Пожалуйста, Хелла. Я сейчас не в состоянии пускаться в долгие объяснения. Может, это потому, что если я останусь в Париже, Джованни будет мне постоянно попадаться и...
- Я осёкся.
- Почему это так волнует тебя?

– Просто я не могу ему ничем помочь, как не могу выдержать того, что он смотрит на меня, как на американца, Хелла, думая, что я *богатый*.

Я сел в кровати, глядя в сторону. Она наблюдала за мной.

– Он очень хороший человек, как я сказал, но очень упрямый, и придумал обо мне неизвестно что, думает, что я бог. А эта его комната такая мерзкая и грязная. А скоро наступит зима, и будет холодно...

Я повернулся и обнял её.

– Слушай, давай просто уедем. Я объясню тебе многое позже, но позже – когда мы будем далеко.

Наступило долгое молчание.

– Ты хочешь уехать прямо сейчас? – спросила она.

– Да. Как только придут деньги, давай снимем дом.

– Ты уверен, что не хочешь просто вернуться в Штаты?

Я застонал.

– Нет. Пока нет. Я не это имел в виду.

Она поцеловала меня.

– Мне всё равно, куда ехать, – сказала она, – до тех пор, пока мы вместе.

Потом отстранилась от меня, проговорив:

– Уже почти утро. Давай немного поспим.

В комнату Джованни я пришёл на следующий день, поздним вечером. Мы бродили с Хеллой вдоль Сены, а потом я слишком много выпил, переходя из одного бистро в другое. Свет ударил мне в глаза, когда я вошёл и увидел Джованни, сидящего на кровати и кричавшего перепуганным голосом: «*Qui est là? Qui est là?*»<sup>57</sup>

Я остановился в дверном проёме, слегка покачиваясь в электрическом свете, и сказал:

– Это я, Джованни. Замолчи.

Он уставился на меня, потом отвернулся лицом к стене и заплакал.

«Боже милостивый», – сказал я про себя и тихо притворил дверь. Потом вынул сигареты из кармана пиджака и повесил его на спинку стула. С пачкой сигарет в руке я подошёл к кровати, нагнулся к Джованни и сказал:

– Не плачь, малыш. Прошу тебя, не плачь.

Джованни повернулся и посмотрел на меня. Его покрасневшие глаза были полны слёз, но в то же время он улыбался странной улыбкой, в которой читались злость, стыд и наслаждение. Он протянул руки, я нагнулся к нему и откинул волосы с его глаз.

– От тебя пахнет вином, – сказал Джованни.

– Я не пил вина. Ты этого испугался? Из-за этого плачешь?

– Нет.

– Тогда в чём дело?

– Почему ты ушёл от меня?

Я не знал, что ответить. Джованни снова отвернулся к стене. Я надеялся, я предполагал, что ничего не почувствую. Но сердце у меня сжалось так, будто в него ткнули пальцем.

– Я никогда не был тебе близок, – сказал Джованни. – Ты никогда по-настоящему здесь не присутствовал. Не думаю, что ты когда-либо лгал мне, но знаю, что ты никогда не говорил мне правды. Почему? Иногда ты проводил здесь весь день, читал, открывал окно или готовил что-нибудь, а я наблюдал за тобой, но ты никогда ничего не говорил и смотрел на меня так, будто не видишь меня. Весь день, пока я приводил эту комнату для тебя в порядок.

<sup>57</sup> Кто там? Кто там? (фр.)

Я ничего не сказал. Я смотрел через голову Джованни на квадратные окна, сдерживающие слабый лунный свет.

— Чем ты занят всё время? Почему ничего не говоришь? Знаешь, ты просто нечистый дух; и иногда, когда ты мне улыбался, я ненавидел тебя. Мне хотелось тебя ударить. Хотелось избить до крови. Ты улыбался мне так, как улыбаешься всем, говорил мне то, что говоришь всем, — а говорил одну ложь. Что ты скрываешь всегда? Думаешь, я не знал, что, когда твоё тело любило меня, ты не любил никого? Ни-ко-го! Или всех, — но *не меня*, конечно. Я ничто для тебя, ничто, и ты вызываешь у меня лихорадку, но не наслаждение.

Я отошёл, ища сигареты. Они были у меня в руке. Я закурил. В какой-то момент я подумал, что скажу что-нибудь, скажу и уйду из этой комнаты навсегда.

— Ты знаешь, что я не могу оставаться один. Я ведь говорил тебе. Что случилось? Мы никогда уже не будем вместе?

Он снова заплакал. Я смотрел, как горячие слёзы падают с его ресниц на грязную подушку.

— Если ты не будешь любить меня, я умру. Мне хотелось умереть до того, как ты появился, — я говорил тебе много раз. Как жестоко — вернуть мне желание жить только для того, чтобы сделать мою смерть ещё ужасней.

Мне многое хотелось сказать. Но открыв рот, я не издал ни звука. Я не понимал, что испытываю по отношению к нему. Я не испытывал к Джованни ничего. Я чувствовал ужас, жалость и нарастающую похоть.

Он взял сигарету у меня изо рта и затянулся, сев в кровати. Волосы снова упали ему на глаза.

— Я не знал никого, кто был бы похож на тебя. Я никогда не был таким до твоего появления. Послушай. В Италии у меня была женщина, она была очень добра ко мне. Она любила меня, *меня* любила, заботилась обо мне и всегда была дома, когда я возвращался с работы на винограднике, и мы никогда не ссорились, никогда. Я был очень молод тогда и не знал ни всего того, что узнал позже, ни тех ужасных вещей, которым ты меня научил. Я думал, что все женщины такие. Что все мужчины такие же, как я, — я думал, что я такой же, как все мужчины. Я не был тогда несчастным, не был одиноким, потому что она всегда была рядом, — и мне не хотелось умереть. Мне хотелось прожить всю жизнь в нашей деревне и работать на винограднике, и пить вино, которое мы делали, и заниматься любовью с моей девушкой. Я рассказывал тебе о нашей деревне?.. Она очень старая, на юге страны, на холме. Ночью, когда мы гуляли вдоль окружающей её стены, мир, казалось, простирался под нами, весь этот далёкий и грязный мир. И мне даже не хотелось его увидеть. Однажды мы занимались любовью прямо под этой стеной.

Да, мне хотелось жить там всегда, есть много спагетти, допьяна пить вино, наплодить много ребятишек и растолстеть. Я бы не понравился тебе, если б остался там. Могу представить себе, как много лет спустя ты проезжал бы на громадной, уродливой американской машине, которая у тебя обязательно появилась бы к тому времени, смотрел бы на меня, на всех нас, пробуя наше вино, обсервая нас своей идиотской улыбкой, которой улыбаются повсюду американцы и которая не сходит у тебя с лица; как с рёвом мотора и визгом шин ты уехал бы прочь и говорил потом всем знакомым американцам, что они должны поехать посмотреть нашу деревню, потому что она такая живописная. И у тебя бы не было ни малейшего представления о нашей жизни там, неспешной и бьющей через край, прекрасной и страшной, как нет у тебя никакого представления о моей жизни сейчас. Думаю, что был бы счастливее там и не заботился бы о смысле твоей улыбки. У меня была бы своя жизнь. Я провалялся здесь столько ночей, ожидая твоего возвращения и думая о том, как далеко моя деревня и как жутко быть в этом холодном городе, среди ненавистных мне людей, где вечно холодно и промозгло, а не сухо и жарко,

как было там, и где Джованни не с кем поговорить, не с кем побыть вместе, где он нашёл себе любовника, который и не мужчина, и не женщина, а нечто, чего мне не узнать и не пощупать. Ты ведь не знаешь, что это такое, а? – пролежать всю ночь напролёт без сна в ожидании кого-то. Уверен, что не знаешь. Ты не знаешь ничего. Ты не знаешь всех этих страшных вещей, – поэтому так лыбишься и ломаешься, и думаешь, что та комедия, которую ты разыгрываешь с этой стриженной лунолицкой маленькой девочкой и есть любовь.

Он бросил сигарету на пол, где она продолжала тлеть, и снова заплакал. Я оглядел комнату, думая: «Я больше этого не выдержу».

– Я покинул нашу деревню в один прекрасный и страшный день. Никогда мне его не забыть. Это был день моей смерти, – мне хотелось бы, чтобы это был день моей смерти. Помню, что солнце сияло и пекло мне затылок, пока я выходил на дорогу, уводящую из деревни, а дорога шла вверх, и я шёл согнувшись вперёд. Я помню всё: бурую пыль на моих ботинках и прыгающие из-под ног камешки, низкие деревья вдоль дороги, все эти дома с плоской крышей и все их цвета на солнце. Помню, что плакал, но не так, как теперь, – гораздо сильнее и отчаянней. С тех пор, как мы вместе, я не могу даже плакать, как раньше. Тогда, впервые в жизни, мне хотелось умереть. Мы только что похоронили нашего ребёнка на церковном кладбище, где лежит мой отец и отец моего отца, и я оставил свою подругу рыдающей в доме моей матери. Да, у меня был ребёнок, но он родился мёртвым. Он был весь серый и скрюченный, когда я его увидел, и не издавал малейшего звука, когда мы шлёпали его по ягодицам и орошали святой водой и молились, а он оставался безмолвным, оставался мёртвым. Это был малюсенький мальчик, который мог бы вырасти сильным парнем, может, даже таким парнем, которого ты и Жак, и Гийом, и вся ваша мерзкая шайка педиков высматриваете все ваши дни и ночи и о котором мечтаете, – но он был мёртв; это было моё дитя, и мы сотворили его, я и моя девушка, но он был мёртв. Когда я понял, что он не оживёт, я снял наше распятие со стены, плюнул на него и швырнул на пол, а моя мать и подруга закричали, и я ушёл. Мы сразу похоронили его, на следующий день, и я оставил нашу деревню и пришёл в этот город, где Бог наказал меня, конечно, за все мои грехи и за то, что я плюнул на Его святого Сына, и где я, конечно, умру. Думаю, что никогда уже не увижу нашу деревню.

Я встал. У меня кружилась голова. Во рту было горько. Комната кружилась в глазах, как в первый раз, когда я пришёл сюда, – целую вечность назад. Я слышал, как Джованни стонет у меня за спиной: «Chéri. Mon très cher<sup>58</sup>, не оставляй меня. Пожалуйста, не оставляй меня». Я повернулся и обнял его, глядя над его головой на стену, где дама с кавалером прогуливались среди роз. Он рыдал так, что у него могло, как говорится, разорваться сердце. Но я чувствовал, что это моё сердце разрывается. Что-то сломалось во мне, сделав меня таким холодным, таким безупречно спокойным и отстранённым.

Но мне необходимо было что-то сказать.

– Джованни... Джованни.

Он успокоился, начал слушать. И я невольно ощутил, и не в первый раз, всю хитрость отчаявшихся.

– Джованни, – сказал я, – ты всегда знал, что я когда-нибудь уйду. Знал, что моя невеста возвращается в Париж.

– Ты не уходишь от меня из-за неё, – сказал он. – Ты уходишь по другой причине. Ты врешь так много, что начал верить собственному вранью. Но я-то вижу правду. Ты не бросаешь меня ради женщины. Если бы ты действительно любил эту маленькую девочку, ты бы не мог быть со мной таким жестоким.

– Она не маленькая девочка. Она женщина, и что бы ты ни думал об этом, но я люблю её...

<sup>58</sup> Милый. Мой самый дорогой (фр.)

– Ты не любишь никого! – крикнул Джованни, снова садясь в кровати. – Ты никогда никого не любил и, я уверен, никогда не полюбишь! Ты любишь лишь свою чистоту и своё отражение в зеркале: как маленький девственник, ты бродишь везде, выставив руки вперёд, будто у тебя там какой-то драгоценный металл, золото, серебро, рубины или, может, алмазы – между ног! Ты никогда и никому этого не отдашь, никогда не позволишь никому *тронуть* это – ни мужчине, ни женщине. Ты хочешь остаться *чистеньким*. Ты думаешь, что явился сюда в мыльной пене и в мыльной пене отсюда уйдёшь, – а пока ты не хочешь *вонять*, хотя бы и пять минут.

Он схватил меня за воротник, борясь и ласкаясь одновременно, одновременно обмякший и несгибаемый: слюна брызгала у него с губ, и глаза были полны слёз, но череп проглядывал сквозь черты лица, а мышцы на руках и на шее вздулись.

– Ты хочешь бросить Джованни, потому что боишься завонять. Хочешь презирать Джованни, потому что он не боится вонять любовью. Ты хочешь *убить* его во имя своей фальшивой, мелочной морали. А сам-то – ты же *аморален*. За всю свою жизнь я не видел более аморального человека. Посмотри, ты *посмотри*, что сделал со мною. Думаешь, ты мог бы сделать это, если бы я тебя не любил? Думаешь, это и есть *то*, что ты должен делать с любовью?

– Джованни, перестань! Ради бога *прекрати* это! Что ты вообще хочешь от меня? Я *не могу* чувствовать иначе.

– А ты *знаешь*, как ты чувствуешь? Чувствуешь ли? *Что* ты чувствуешь?

– Сейчас я не чувствую ничего, – сказал я, – ничего. Мне хочется уйти из этой комнаты, уйти от тебя и прекратить эту чудовищную сцену.

– Хочешь уйти от меня.

Он захохотал, наблюдая за мной. В его взгляде было столько бездонной горечи, что он казался почти благожелательным.

– Наконец ты становишься честным. Знаешь ли ты, *почему* собираешься уйти от меня?

Что-то замкнулось у меня внутри.

– Я... я не могу с тобой жить.

– Но ты можешь жить с Хеллой. С этой лунолицой маленькой девочкой, которая думает, что детей находят в капусте... или в холодильнике; ведь я не знаком с вашими поверьями. Ты можешь жить с ней.

– Да, – сказал я измученно, – я могу с ней жить.

Я встал. Меня била дрожь.

– Что за жизнь может у нас быть в этой комнате? В этой мерзкой маленькой комнатке? И что за жизнь может быть, так или иначе, у двух мужчин? Вся эта любовь, о которой ты твердишь, – не для того ли она, чтобы ты почувствовал себя сильным? Ты хочешь уходить на работу и приносить домой деньги, хочешь, чтобы я оставался здесь, мыл посуду, стирал и вычищал эту жалкую комнату-сортир, и целовал тебя, когда ты переступишь через порог, лежал с тобой по ночам и был твоей маленькой *девочкой*. Вот чего ты хочешь. Это то, что ты хочешь сказать, и это *всё*, что ты хочешь сказать, когда говоришь о своей любви. Говоришь, что я хочу *убить тебя*. А что думаешь, ты делал со мной?

– Я не стараюсь сделать из тебя маленькую девочку. Если бы мне нужна была маленькая девочка, я бы *был* с такой девочкой.

– А почему это не так? Не потому ли, что просто боишься? Не взял ли ты *меня*, потому у тебя кишка тонка, чтобы быть с женщиной, раз ты этого *действительно* хочешь?

Он побледнел.

– Это ты твердишь о том, *чего* я хочу. А я говорил о том, *кого* я хочу.

– Но я же мужчина, – закричал я, – мужчина! Что же может *быть* между нами?

– Сам прекрасно знаешь, – произнёс Джованни с расстановкой, – что может быть между нами. Поэтому ты и уходишь от меня.

Он встал, подошёл к окну и открыл его.

– *Bon*<sup>59</sup>, – сказал он и ударил кулаком по подоконнику. – *Если бы* я мог, я бы удержал тебя, – прокричал он. – Если бы нужно было тебя избить, приковать цепями, морить голодом, *чтобы* удержать тебя, я бы сделал это.

Он отошёл от окна. Ветер трепал ему волосы. Он ткнул в меня пальцем с деланной игривостью.

– Возможно, когда-нибудь ты пожалеешь, что я этого не сделал.

– Холодно, – сказал я. – Закрой окно.

Он улыбнулся.

– Теперь, когда ты уходишь, тебе хочется, чтобы я закрыл окно. *Bien sûr*.

Он закрыл окно, и мы уставились друг на друга, стоя посередине комнаты.

– Не будем больше ссориться, – сказал он. – Это не удержит тебя. По-французски это называется *une séparation de corps* – не развод, понимаешь, а просто раздельное проживание. Хорошо. Разделимся. Но знай, что твоё место рядом со мной. Я верю, я должен верить – что ты вернёшься.

– Джованни, – сказал я, – я не вернусь. Ты знаешь, что не вернусь.

Он замахал рукой.

– Я ведь сказал, что не будем больше ссориться. У американцев нет никакого ощущения судьбы, просто никакого. Они не узнают судьбу, когда сталкиваются с ней.

Он достал из-под раковины бутылку.

– Жак оставил у меня бутылку коньяка. Давай выпьем немного – на дорожку, как говорят в таких случаях.

Я наблюдал за ним. Он аккуратно наполнил две рюмки. Он заметно дрожал – от гнева или от боли, или от того и другого.

Он протянул мне рюмку.

– *A la tienne*, – сказал он.

– *A la tienne*<sup>60</sup>.

Мы выпили. Я не мог удержаться от вопроса:

– Джованни, что ты думаешь теперь делать?

– О, у меня есть друзья. Решу, что мне делать. Сегодня вечером, например, мы ужинаем с Жаком. Завтра, без сомнения, я тоже буду с ним ужинать. Он очень хорошо стал ко мне относиться. Он думает, что ты монстр.

– Джованни, – сказал я беспомощно, – будь осторожен. Пожалуйста, будь осторожен.

Он насмешливо улыбнулся в ответ.

– Спасибо. Ты должен был посоветовать это мне в тот вечер, когда мы встретились.

Это был последний раз, когда мы по-настоящему разговаривали. Я оставался у него до утра, а потом побросал свои вещи в чемодан и отнёс его к Хелле.

Никогда не забуду, как он посмотрел на меня на прощание. Утренний свет заливал комнату, напоминая мне о стольких утрах и о том утре, когда я первый раз здесь проснулся. Джованни сидел на кровати – совершенно голый – и держал в руке рюмку. Тело его было мертвенно белым, лицо мокрым от слёз и серым. Я стоял с чемоданом у двери. Взявшись за ручку двери, я взглянул на него. Мне захотелось попросить у него прощения. Но это было бы слишком исповедально: любая уступка в этот момент могла навсегда замуровать меня с ним в этой комнате. Но отчасти именно этого мне и хотелось. Я почувствовал, как по телу у меня пробежала дрожь, подобная началу землетрясения, почувствовал, как на мгновение утопаю в его глазах. Его тело, такое знакомое во всех мелочах, мерцало в этом

<sup>59</sup> Ладно (фр.)

<sup>60</sup> Твоё здоровье (фр.)

свете, наполняя и сокращая пространство, разделявшее нас. Тогда что-то шевельнулось у меня в мозгу, бесшумно распахнулась какая-то тайная дверь, и я пришёл в ужас: мне не приходило в голову до этого момента, что, спасаясь от его тела, я подтверждаю и увековечиваю власть этого тела над собой. Я был заклеимён: его тело прожгло моё сознание, мои мечты. Всё это время он не сводил с меня глаз. Казалось, моё лицо было для него прозрачнее магазинной витрины. Он не улыбался, не был ни мрачен, ни торжествующ, ни печален. Он был недвижим. Думаю, он ждал, когда я пересеку это пространство и снова возьму его в свои руки: ждал, как ждут чуда на смертном одре, в которое не смеют не верить и которое не случится. Я должен был уйти, потому что по моему лицу было слишком заметно, что эта борьба с собственным телом изнуряет меня. Ноги отказывались нести меня обратно, к нему. Ветер моей жизни уже выдувал меня оттуда.

– Au revoir, Giovanni.

– Au revoir, mon cher<sup>61</sup>.

Я отвернулся от него, открыл дверь. Его усталое дыхание, казалось, шевелило мне волосы и задевало ресницы, как ветер самого безумия. Проходя по короткому коридору, я ожидал в любое мгновение услышать его голос сзади; я миновал вестибюль, loge<sup>62</sup> спящей в этот час консьержки и оказался на утренней улице. И с каждым шагом становилось всё более невозможно повернуть назад. В голове было пусто или, скорее, мозг стал одной огромной анестезированной раной. У меня была только одна мысль: «Когда-нибудь я ещё буду плакать об этом. Когда-нибудь я буду рыдать».

На углу, в тусклом луче утреннего солнца, я посмотрел, сколько у меня осталось автобусных билетиков в бумажнике. Я обнаружил в нём триста франков, взятых у Хеллы, мою carte d'identité<sup>63</sup>, мой адрес в Штатах, какие-то клочки бумаги, горсть этих клочков, карточки, фотографии. На каждом таком клочке был адрес, телефонный номер, дата и время каких-то состоявшихся и отложенных встреч (и, возможно, забытых), имена запомнившихся или, возможно, забытых людей, как свидетельства напрасных надежд: скорее всего напрасных, иначе я бы не стоял на углу этой улицы.

Я насчитал четыре билетика и пошёл к arrêt<sup>64</sup>. Там стоял полицейский в синей накидке, плотной и длинной, с посверкивающим белым жезлом. Он посмотрел на меня, улыбнулся и спросил громко: «ça va?»

– Oui, merci<sup>65</sup>. А у вас?

– Toujours<sup>66</sup>. Хороший денёк будет, а?

– Да, – ответил я, но голос у меня дрожал. – Скоро осень.

– C'est ça<sup>67</sup>.

И он отвернулся, снова принимаясь наблюдать за бульваром. Я пригладил волосы рукой, чувствуя себя глупо от того, что дрожал. Мимо прошла женщина, несшая с рынка полную сетку продуктов, в которой литровая бутылка красного вина была предусмотрительно положена сверху. Она не была уже молодой, но лицо у неё было ясное и открытое, а с сильным и полным телом сочтались полные, сильные руки. Полицейский что-то ей прокричал, и она прокричала в ответ – что-то добродушно-непристойное. Полицейский захохотал, но на меня больше не посмотрел. Я смотрел, как женщина удалялась по улице – к себе домой, думал я, к мужу, одетому в синюю грязную рабочую робу, к детям. Она дошла до угла

<sup>61</sup> До свидания, Джованни. До свидания, мой любимый (фр.)

<sup>62</sup> Комната консьержки (фр.)

<sup>63</sup> Удостоверение личности (фр.)

<sup>64</sup> Автобусной остановке (фр.)

<sup>65</sup> Всё в порядке? Да, спасибо (фр.)

<sup>66</sup> Как всегда (фр.)

<sup>67</sup> Это точно (фр.)



улицы, на который падал солнечный свет, и перешла на противоположную сторону. Подошёл автобус, и мы с полицейским (больше на остановке никого не было) поднялись в него. Он встал далеко от меня, на задней площадке. Полицейский тоже не был молод, но, к моей зависти, был полон жизни. Я смотрел на проплывающие в окне улицы. Вечность назад – в другом городе, в другом автобусе – я также сидел у окна, смотрел через стекло и придумывал для каждого проносящегося мимо лица, привлёкшего моё внимание, свою жизнь, свою судьбу, в которой я играл какую-то роль. И ожидал для себя произнесённого шёпотом обещания спасения. Но в это утро казалось, что мой забытый двойник играл в самую опасную из всех игр воображения.

Последующие дни пролетели как во сне. Как-то сразу похолодало. Тысячи туристов убралась восвояси точно по расписанию. В парках листья падали на гуляющих, кружились с шелестом над головой и ложились под ноги. Камни этого города, бывшие до того яркими и разноцветными, медленно, но неотвратимо тускнели, снова превращаясь в обыкновенные серые глыбы. Стало очевидно, что камни были твёрдыми. Рыболовы день за днём исчезали с реки вплоть до того дня, когда набережные окончательно опустели. Тела мальчиков и девочек начали преобразовываться из-за толстого белья, свитеров и шарфов, капюшонов и пелерин. Старики будто стали ещё старше, а старухи – медлительнее. Сена потускнела, пошли дожди, вода начала подниматься. Стало ясно, что солнце скоро откажется от непосильной борьбы, которую вело изо дня в день из-за каких-то нескольких часов над Парижем.

– Но на юге должно быть тепло, – сказал я.

Деньги наконец пришли. Мы с Хеллой изо дня в день пытались отыскать подходящий дом в Эзе, Кань-сюр-Мер, Вансе, Монте-Карло, Антибе, Грасе. В квартале нас больше почти не видели. Мы оставались в номере, много услаждались любовью, ходили в кино и выискивали для долгих и обычно довольно унылых обедов странные ресторанчики на правом берегу Сены. Трудно сказать, откуда бралась эта меланхолия, которая покрывала нас порой, как тень какой-то огромной, хищной, выжидающей птицы. Не думаю, что Хелла была недовольна, потому что никогда ещё я не лип к ней так часто, как в эти дни. Но, возможно, порой она чувствовала, что хватка моя была слишком настойчивой для того, чтобы казаться естественной, и уж конечно, слишком настойчивой, чтобы долго продолжаться.

Иногда, где-то неподалёку от нашего квартала, мне встречался Джованни. Я боялся на него смотреть – не только потому, что он почти всегда был с Жаком, но ещё и потому, что, хотя одет он был намного лучше, выглядел он плохо. Мне было невыносимо то, что я начал различать в его взгляде что-то одновременно жалкое и порочное, и то, как он хихикал в ответ на шуточки Жака и ломался, ломался, как «фея», на которую стал слегка походить. Мне не хотелось знать о характере их отношений с Жаком; но однажды мне всё стало ясно по злорадному и торжествующему взгляду Жака. А Джованни во время этой мимолётной встречи посреди вечеряющего бульвара, в толчее спешащих прохожих, вёл себя невероятно игриво и женственно и был совершенно пьян, – он будто заставлял меня отпить из чаши своего унижения. И я ненавидел его за это.

Следующий раз я видел его утром. Он покупал газету. Он нагло посмотрел на меня, прямо в глаза, и перевёл взгляд на что-то другое. Я смотрел ему вслед, пока уменьшалась его идущая вдоль бульвара фигура. Вернувшись в отель, я рассказал об этой встрече Хелле, стараясь рассмеяться.

Потом я встречал его в нашем квартале уже без Жака, в компании уличных парней, которых он когда-то называл *lamentables*<sup>68</sup>. Теперь он уже не был так хорошо одет и начинал походить на них. Его дружкой среди них, кажется, стал

<sup>68</sup> Жалкими (фр.)

тот самый длинный веснушчатый парень по имени Ив, которого я видел играющим в электрический бильярд, а потом – разговаривающим с Жаком в наше первое утро в Les Halles. Однажды, поздним вечером, когда я сам был изрядно пьян и бродил один по кварталу, я наткнулся на этого парня и взял ему что-то выпить в кафе. Я не упоминал Джованни, но Ив сам сказал, что они уже расстались с Жаком. Но якобы всё шло к тому, что Гийом снова готов взять его к себе барменом. Но не прошло и недели со дня этой встречи, как Гийом был найден мёртвым в своей квартирке над баром. Он был задушен поясом от собственного халата.

## 5

Это был очень громкий скандал, и если вы были в Париже в это время, то, безусловно, слышали об этом и видели напечатанные во всех газетах фотографии Джованни, снятые сразу после его ареста. Появились передовые статьи, были произнесены речи, и многие бары, подобные бару Гийома, были закрыты. (Но закрытыми они оставались недолго). Полицейские в штатском появились в этом квартале, проверяя у всех документы, и *tapettes*<sup>69</sup> были удалены из баров. Джованни нигде не могли найти. Его исчезновение со всей очевидностью подтверждало, конечно, что он был убийцей. Подобный скандал, пока не утихнут раскаты грома, всегда угрожает поколебать самые основы государства. В таких случаях необходимо как можно скорее найти объяснение, выход из положения и жертву. Большинство мужчин, арестованных в ходе расследования, были взяты не по подозрению в убийстве. Их взяли по подозрению в том, что французы – с деликатностью, которая представляется мне издевательской, – называют *les goûts particuliers*<sup>70</sup>. Эти «вкусы», которые не считаются во Франции преступлением, вызывают тем не менее крайнюю недоброжелательность у большинства простых людей, относящихся к своим правителям и «вышестоящим лицам» с окаменелым недостатком привязанности. Когда обнаружили тело Гийома, испугались не только уличные мальчишки; на самом деле они испугались гораздо меньше тех мужчин, рыскающих по улицам, чтобы их купить, чья карьера, положение в обществе и амбициозные планы были бы навсегда загублены такой славой. Отцы семейств, отпрыски прославленных фамилий и шелудивые искатели удовольствий из Бельвиля<sup>71</sup> только и мечтали о том, чтобы история была поскорее замята, чтобы всё пошло по-старому и ужасающий бич общественной морали не хлестнул их по спинам. Они не знали, какую позицию им следовало срочно занять: кричать, что они мученики, или же оставаться тем, чем они и были в душе, – простыми гражданами, возмущёнными происшедшим, желающими, чтобы правосудие восторжествовало и здоровая мораль общества была спасена.

А между тем, всем повезло, что Джованни был иностранцем. Будто по какому-то волшебному молчаливому сговору газеты с каждым днём, пока не схватили Джованни, наполнялись всё большей бранью по отношению к нему и всё большей симпатией по отношению к Гийому. Вспомнили, что вместе с Гийомом прекратила своё существование одна из старейших фамилий Франции. Воскресные приложения расписывали историю его рода; его старая аристократичная мать, которая не пережила этот процесс, свидетельствовала о достойнейших качествах своего сына и сожалела, что коррупция пустила во Франции такие глубокие корни, и поэтому, мол, подобное преступление остаётся так долго не раскрытым. Плебс был, разумеется, более чем готов разделить эти чувства. Может, это и не так невероятно, как представляется мне, но имя Гийома фантастическим образом было увязано с французской историей, национальной гордостью и славой Франции, и стало тогда почти символом мужественности французов.

<sup>69</sup> Шлюхи (фр.)

<sup>70</sup> Особыми вкусами (фр.)

<sup>71</sup> Небогатый район Парижа, населённый преимущественно рабочими и эмигрантами.

– Но послушай, – сказал я Хелле, – ведь это была просто гнусная старая «фея». Больше он *ничем* не был.

– Откуда, думаешь, люди, читающие газеты, могут узнать об этом? *Если* он действительно был таким, то, я уверена, он не рекламировал это и вращался в очень узком кругу.

– Но ведь *кто-то* же знает об этом. Знают и некоторые из тех, кто несёт эту околесицу.

– Нет большого смысла в том, – сказала она сдержанно, – чтобы чернить покойника.

– А имеет ли смысл говорить правду?

– Они и говорят правду. Он принадлежал к очень важной семье и был убит. Я знаю, что *ты* имеешь в виду. Есть другая правда, о которой они *не* говорят. Но газеты никогда этого не делают – они не для того существуют.

Я вздохнул.

– Бедный, бедный, бедный Джованни.

– Думаешь, он это сделал?

– Не знаю. Очень *лохоже*, конечно, что он. Он был там в ту ночь. Видели, как он поднялся наверх перед закрытием бара, но не помнят, чтобы он спустился.

– Он работал в ту ночь?

– Кажется, нет. Просто пил. Они с Гийомом вроде бы снова тогда подружились.

– Надо сказать, ты обзавёлся странными друзьями, пока меня не было.

– Они не казались бы такими странными, если бы один из них не был убит. Так или иначе, никто из них не был мне другом – кроме Джованни.

– Ты жил с ним. И не можешь сказать, он совершил убийство или нет?

– Ну и что? Ты живёшь со мной. Могу я совершить убийство?

– Ты? Конечно, нет.

– А как ты знаешь? Ты не можешь знать. Откуда ты знаешь, что я такой, каким выгляжу?

– Потому что, – сказала она, наклоняясь и целуя меня, – я тебя люблю.

– Да? А я любил Джованни...

– Не так, как я люблю тебя.

– Я, если хочешь знать, может быть, уже совершил убийство. Что ты об этом знаешь?

– Почему ты так расстроен?

– А *ты* была бы расстроена, если бы твоего друга обвиняли в убийстве и он скрывался бы где-то? Почему тебя удивляет, что я расстроен? Чего ты от меня ждёшь – чтобы я распевал рождественские песенки?

– Не кричи. Я просто никогда не представляла себе, что он значит для тебя так много.

– Это был хороший человек, – ответил я. – Мне просто больно видеть его в беде.

Она подошла и мягко взяла меня за руку.

– Мы скоро уедем из этого города, Дэвид. И ты не будешь больше об этом думать. Люди попадают в беду, Дэвид. Но ты ведёшь себя так, будто во всём этом была и твоя вина. Но ведь это не так.

– Я *знаю*, что это не моя вина!

Но тон моего голоса и взгляд Хеллы заставили меня замолчать. Я с ужасом почувствовал, что готов разрыдаться.

Джованни не могли поймать почти неделю. Каждый раз, наблюдая из окна Хеллы поглощающую Париж тьму, я думал, что где-то там должен быть Джованни, может, под одним из мостов, что ему холодно и страшно, что ему некуда идти. Я надеялся, что он нашёл друзей, которые его прячут: было немислимо, что в таком небольшом и кишашем полицейскими городе его не могут найти так долго. Иногда

я боялся, что он отыщет меня, будет умолять о помощи или убьёт меня. Потом мне пришло в голову, что скорее всего он считает ниже своего достоинства просить о помощи меня и что он наверняка уже решил, что не стоит меня убивать. Я старался найти спасение в Хелле. Каждую ночь я пытался утопить в ней всю свою вину и страх. Необходимость делать что-то стала во мне подобна горячке, и единственной возможностью действия был акт любви.

В конце концов его поймали ранним утром на пришвартованной к набережной барже. До этого в газетах появились слухи, что он уже в Аргентине, поэтому всех ужасно удивило, что он не дошёл дальше Сены. Этот недостаток «дерзости» с его стороны не прибавил ему общественного сочувствия. Он, Джованни, был преступником низшего сорта, кустарём. Настаивали, например, на том, что ограбление было главным мотивом убийства. Но, хотя Джованни и взял все деньги, бывшие у Гийома в карманах, он не прикоснулся к кассе и, кажется, даже не подозревал, что Гийом прятал в шкафу другой бумажник, в котором было более тысячи франков. Взятые деньги были всё ещё у него в карманах, когда его схватили; он не смог ими воспользоваться. Он ничего не ел два или три дня и был слаб, бледен и непривлекателен. Его лицо смотрело с газетных стендов по всему Парижу. Он выглядел молодо, растерянно, испуганно и порочно; будто он, Джованни, не мог поверить, что дошёл до такого, что дошёл и что ему больше некуда идти: его короткий путь обрывался под казённым ножом. Казалось, что он уже пятится назад, содрогаясь каждой клеточкой своей плоти перед этим леденящим кровью видением. И ещё казалось, как много раз до того, что он зовёт меня на помощь. Газеты поведали немилосердному миру, как Джованни каялся, молил о пощаде, рыдал и божился, что он не хотел этого делать. Они также смаковали детали того, как он это сделал, но не говорили – почему. Это «почему» было бы слишком черно для газетной полосы и слишком глубоко для Джованни, чтобы он мог объяснить.

Наверно, я был единственным человеком в Париже, кто знал, что он не хотел этого делать, кто мог прочесть между газетных строк, *почему* он это сделал. Я снова вспомнил, как нашёл его в тот вечер дома, как он рассказывал мне, что Гийом уволил его. Я снова услышал его голос, ощутил неистовость его тела, увидел его слёзы. Я знал его заносчивость, знал, что он считал себя *débrouillard*<sup>72</sup>, вне конкуренции, и представлял себе, как он ввалился в бар Гийома. Он должен был понимать, что тем, что он сдался Гийому, окончилось его ученичество, кончилась для него любовь, и теперь он мог делать с Гийомом всё, что тому угодно. Да, он мог делать с Гийомом, что угодно, но – не мог перестать быть Джованни. Гийом, конечно, был в курсе всего. Жак должен был незамедлительно сообщить ему, что Джованни уже не живёт с *le jeune Américain*<sup>73</sup>. Возможно, что Гийом уже присутствовал на одной или двух вечеринках у Жака в окружении своих. И он, разумеется, знал, весь этот круг знал, что новообретённая свобода Джованни, отсутствие у него любовника должны обернуться возможностью и даже правом на беспутство, – ведь это уже случилось с каждым из них. Это должно было быть звёздным часом для всего бара, когда Джованни распахнул дверь.

Я представил себе их разговор.

– *Alors, tu es revenu?*<sup>74</sup> – должен был сказать Гийом, сопроводив это соблазняющим, язвительным и откровенным взглядом.

Джованни понимает, что ему не собираются напоминать о недавней безобразной сцене и что Гийом расположен дружески. Но в то же время лицо Гийома, его голос, манеры и запах действуют ему на нервы. Стоя перед ним, он старается не проклинать его в душе, но улыбка, которой он ответил на слова Гийома, чуть

<sup>72</sup> Умеющим выкрутиться из любого положения (фр.)

<sup>73</sup> Молодым американцем (фр.)

<sup>74</sup> Ну что, уже вернулся? (фр.)

не вызвала у него самого рвоту. А Гийом, разумеется, ничего этого не видит и ставит перед Джованни рюмку.

– Я подумал, что тебе, может быть, нужен бармен, – говорит Джованни.

– А ты что – ищешь работу? Я думал, что твой американец уже купил для тебя нефтяную скважину в Техасе.

– Нет. Мой американец, – говорит он, проводя рукой по воздуху, – улетучился. Они оба смеются.

– Американцы всегда летают. Они несерьёзны, – говорит Гийом.

– *C'est vrai*<sup>75</sup>, – говорит Джованни.

Он допивает свою рюмку, чтобы не смотреть Гийому в глаза, выглядит ужасно пристыженным и, возможно, начинает бессознательно что-то насвистывать. А Гийом уже не может отвести от него глаз и еле сдерживает свои руки.

– Приходи попозже, перед закрытием, и мы потолкуем об этой работе, – говорит он наконец.

Джованни кивает и уходит. Представляю себе, как он нашёл своих уличных дружков, как пьёт с ними, хохочет, набираясь храбрости, пока в мозгу тикают часы. Ему до смерти хочется, чтобы кто-нибудь сказал, чтобы он не возвращался к Гийому, не позволяя ему себя лапать. Но дружки эти твердят, как богат Гийом, какой он старый и жалкий педик, сколько он сможет выкачать из Гийома, если поведёт себя умело.

И на бульваре нет никого, чтобы поговорить с ним, спасти его. Он чувствует, что гибнет.

Потом наступает время вернуться в бар. Он идёт туда один. Немного медлит у входа. Ему хочется убежать, скрыться. Но бежать некуда. Он всматривается в длинную тёмную кривую улицу, будто ищет кого-то. Но никого там нет. Он входит в бар. Гийом сразу замечает его и незаметно делает ему знак подняться наверх. Он идёт по лестнице. У него подгибаются колени. В комнате Гийома – среди шелка, цветастой мишуры и духов – он впиивается взглядом в кровать.

Потом входит Гийом, и Джованни пытается улыбнуться. Они что-то пьют. Рыхлый и потный Гийом начинает проявлять нетерпение, и от каждого прикосновения его рук Джованни всё больше сжимается и отстраняется с отвращением. Гийом исчезает, чтобы переодеться, и возвращается в своём театрально роскошном халате. Он хочет, чтобы Джованни разделся...

Наверно, в этот момент Джованни понимает, что не вынесет этого, что воля его не выдержит. Он вспоминает о работе. Он старается завести разговор о деле, сдержаться, но, конечно, уже слишком поздно. Гийом обступает его со всех сторон, как море. Думаю, что Джованни, впадая в состояние безумия, чувствует, что тонет, что уступает, и Гийом добивается своего. Если бы этого не произошло, Джованни не убил бы его.

Потому что, уже насладившись и пока Джованни всё ещё лежит задыхаясь, Гийом снова становится деловым человеком, расхаживает по комнате, вполне резонно объясняя, почему Джованни не может больше у него работать. Какие бы предлоги ни придумывал Гийом, настоящая причина не называется, но оба они, каждый по-своему, догадываются о ней: Джованни, подобно закотившейся кинозвезде, потерял притягательную силу. Теперь всё о нём известно, он больше не представляет собой загадки. Джованни, безусловно, понимает это, и бешенство, накопившееся в нём за столько месяцев, закипает в нём и раздувается от ощущения на себе рук и губ Гийома. Какое-то время он молча и в упор смотрит на него, потом начинает кричать. Гийом отвечает ему. И с каждым произнесённым словом в голове у Джованни всё сильнее гудит, и на глаза волнами накатывает темнота. А Гийом на седьмом небе и прыгает по комнате: он никогда ещё не получал так

<sup>75</sup> Это правда (фр.)

много почти даром. Он раскручивает эту сцену до предела, глубоко радуясь тому, что у Джованни багровеет лицо и грубеет голос, наблюдая с откровенным наслаждением, как у него на шее надуваются твёрдые, как камень, мускулы. И думая, что все карты уже биты, он говорит что-то такое, произносит одну лишнюю фразу, лишнее оскорбление, лишнюю насмешку; и умолкнув от собственной наглости, он мгновенно понимает по глазам Джованни, что привёл в движение что-то такое, чего ему уже не остановить.

Джованни, конечно, не собирался этого делать. Но он хватает его, бьёт. И вместе с этим прикосновением, с каждым следующим ударом невыносимая тяжесть на сердце отпускает его: теперь настает черёд Джованни наслаждаться. Всё в комнате уже перевернуто, ткани разодраны, удушливые духи разлиты. Гийом делает попытки вырваться из комнаты, но Джованни настигает его везде: настает черёд Гийому быть окружённым со всех сторон. И, возможно, в тот самый момент, когда Гийом думает, что ему удастся спастись, когда он дотягивается до двери, Джованни бросается на него, ловит его за пояс халата и обматывает этим поясом ему шею. Потом он просто держит его, всхлипывая, становясь всё легче по мере того, как Гийом тяжелеет, затягивая пояс и сквернословя. Потом Гийом падает. Но падает и Джованни – обратно, в комнату, на улицу, в мир, где уже присутствует покрывающая его своей тенью смерть.

К тому времени, когда мы нашли этот вместительный дом, мне стало ясно, что я не имею права сюда ехать. К тому времени, когда мы его нашли, я уже не хотел его видеть. Но к тому времени уже ничего другого не оставалось делать. Мне не хотелось делать ничего другого. Правда, я думал, что должен остаться в Париже, чтобы следить за процессом и, может, даже навестить его в тюрьме. Но я понимал, что делать этого не следовало. Жак, находившийся в постоянном контакте с адвокатом Джованни и в постоянном контакте со мной, видел Джованни один раз. Он сказал мне то, что я и так знал: ни я, ни кто другой уже не может ничего сделать для Джованни.

Наверно, он хотел умереть. Он признал на суде, что виновен в убийстве с целью ограбления. В прессе много писали об обстоятельствах, при которых Гийом его уволил. Судя по этим статьям, создавалось впечатление, что Гийом был бескорыстным и, пожалуй, несколько сумасбродным благодетелем, имевшим несчастье подружиться с бесчувственным и неблагодарным авантюристом по имени Джованни. Потом эта история начала постепенно исчезать с первых страниц. Джованни увезли в тюрьму в ожидании суда.

А мы с Хеллой приехали сюда. Возможно, я думал (уверен, что думал вначале), что если уж я ничего не могу сделать для Джованни, то могу что-то для Хеллы. Должно быть, я надеялся, что Хелла может что-то сделать для меня. Она и могла бы, если бы дни не тянулись для меня, как за решёткой. Я не мог не думать о Джованни и жил только короткими сообщениями, приходившими время от времени от Жака. Всё, что мне запомнилось из этой осени, это ожидание начала суда над Джованни. Потом, наконец, суд состоялся, он был признан виновным и приговорён к смертной казни. Всю долгую зиму я считал дни. И этот дом наполнился кошмарами.

Много писали о любви, вылившейся в ненависть, о том, как холодеет сердце, когда умирает любовь. Это удивительный процесс. Он гораздо страшнее всего, что я когда-либо читал, и страшнее всего, что я когда-нибудь смогу об этом сказать.

Теперь я уже не могу сказать, когда я в первый раз, посмотрев на Хеллу, нашёл её скучной, тело её неинтересным, её присутствие раздражающим. Кажется, что всё это произошло сразу, но на самом деле это лишь значит, что началось всё уже давно. Я ощутил это просто от лёгкого прикосновения кончика её груди к моей руке, когда она наклонилась ко мне, подавая мне что-то на ужин. Плоть моя со-

дрогнулась от отвращения. Её бельё, развешенное в ванной (раньше я думал, что оно пахнет ужасно приятно и что она стирает его слишком часто), казалось мне теперь уродливым и несвежим. Тело, покрытое такими странными угловатыми кусочками ткани, казалось нелепым. Иногда, когда я наблюдал, как двигалось её нагое тело, мне хотелось, чтобы оно было крепче и жёстче; меня страшно пугали её груди, и когда я входил в неё, мне начинало казаться, что живым мне оттуда уже не выбраться. Всё, что когда-то доставляло мне наслаждение, теперь вызывало тошноту.

Думаю, уверен, что никогда в жизни мне не было так страшно. Когда мои пальцы начинали невольно ослаблять свою хватку, я ощущал, что болтаюсь над пропастью и что цеплялся за Хеллу, спасая свою жизнь. С каждым мгновением, пока соскальзывали мои пальцы, увеличивался рёв пустоты подо мной, и я чувствовал, как всё во мне отчаянно сжимается, неистово устремляется вверх – против этого долгого падения.

Я думал, что это происходит только потому, что мы проводим слишком много времени вдвоём, поэтому мы начали разъезжать. Съездили в Ниццу, в Монте-Карло, в Канны и в Антиб. Но мы не были богаты, а юг Франции в зимнее время принадлежит игрокам-толстосумам. Мы часто ходили в кино и часто сидели в пустых захолустных барах. Мы много бродили в молчаньи. Мы уже не видели вещи так, чтобы хотелось обратить на них внимание друг друга. Мы много пили, особенно я. Хелла, вернувшаяся из Испании такой загорелой, уверенной в себе и обаятельной, начала всё это терять, стала бледной, настороженной и неуверенной. Она перестала спрашивать, что со мной происходит, потому что твёрдо усвоила, что я либо не знаю, либо не скажу. Она следила за мной. Я чувствовал это, весь напрягался и ненавидел её за это. Чувство вины, когда я смотрел на её приближающееся лицо, становилось невыносимым.

Мы находились в полной зависимости от расписания автобусов и часто, ранним зимним утром, сонно жались друг к другу в зале ожидания или мёрзли на углу улицы какого-нибудь совершенно безлюдного города. Возвращались домой в сером рассвете, еле волоча ноги от усталости, и сразу валились в кровать.

По утрам меня почему-то тянуло на любовь. Возможно, это было связано с нервным истощением, или же эти ночные блуждания приводили меня в странное, неутолимое возбуждение. Но всё уже было не так, что-то утратилось: удивление, страстность и радость исчезли, ушёл покой.

Сны мои превратились в кошмары, и иногда я просыпался от собственного крика, а иногда Хелла будила меня, чтобы я не стонал.

– Мне хотелось бы знать, – сказала она однажды, – что с тобой. Скажи мне и позволь тебе помочь.

Я растерянно и горестно покачал головой, глубоко вздохнув. Мы сидели в гостиной, где я сейчас стою. Она сидела в том кресле под лампой, с открытой книгой на коленях.

– Милая ты моя, – сказал я и добавил: – Это ничего. Пройдёт. Просто нервы, наверно.

– Это из-за Джованни, – сказала она.

Я внимательно на неё посмотрел.

– Всё из-за того, – спросила она осторожно, – что ты винишь себя, что совершил что-то ужасное, оставив его в той комнате? Думаю, ты видишь свою вину в том, что с ним стало. Но, милый, что бы ты ни делал, это уже не помогло бы ему. Перестань себя терзать.

– Он был такой красивый, – сказал я, не ожидая от себя этих слов, и почувствовал, что начинаю дрожать. Она не спускала с меня глаз, пока я подходил к столу, на котором, как и сейчас, стояла бутылка виски, и налил себе.

Я не мог не говорить, хотя и боялся, что в любую минуту могу сказать что-то лишнее. А может, мне и хотелось сказать лишнее.

– Я не могу не думать, что это из-за меня над ним нависла тень гильотины. Он хотел, чтобы я остался жить с ним там, в его комнате, он умолял меня. Я не рассказал тебе, что у нас была страшная ссора в ту ночь, когда я пошёл забрать свои вещи.

Я помолчал, прикладываясь к стакану.

– Он плакал.

– Он был влюблён в тебя, – сказала Хелла. – Почему ты не сказал мне об этом? Или ты не знал?

Я отвернулся, чувствуя, что лицо у меня пылает.

– Это не твоя вина, – сказала она. – Неужели ты не понимаешь? Ты не мог сделать так, чтобы он в тебя не влюбился. Ты не мог уберечь его, чтобы... чтобы он не убил этого ужасного человека.

– Ты ничего об этом не знаешь, – пробормотал я. – Ничего не знаешь.

– Я знаю, что ты чувствуешь...

– Ты *не знаешь*, что я чувствую.

– Дэвид, не таись от меня. Пожалуйста, не таись. Позволь тебе помочь.

– Хелла, детка. Я знаю, что ты хочешь помочь. Но оставь меня в покое на какое-то время. Всё будет в порядке.

– Ты обещаешь это уже давно, – сказала она устало.

Несколько минут она настойчиво смотрела на меня, потом сказала:

– Дэвид. А не думаешь ли ты, что нам пора вернуться домой?

– Домой? Для чего?

– А для чего мы здесь остаёмся? Сколько ты ещё собираешься сидеть в этом доме, терзая себе сердце? А каково мне это видеть, как ты думаешь?

Она встала и подошла ко мне.

– Пожалуйста. Я хочу вернуться домой. Хочу, чтобы мы поженились. Чтобы у нас были дети. Хочу обосноваться где-нибудь, хочу *тебя*. Дэвид, пожалуйста. Зачем мы убиваем здесь время?

Я отстранился от неё резким движением. Она недвижно стояла у меня за спиной.

– Дэвид, в чём дело? *Чего* ты хочешь?

– Я не знаю. Не-зна-ю.

– Что ты от меня скрываешь? Почему не скажешь мне правду? *Правду* скажи! Я повернулся к ней лицом.

– Хелла... потерпи меня, *вытерпи* меня... ещё немного.

– Я сама хочу, – закричала она, – но *где* ты? Ты ускользаешь куда-то, и я не могу тебя найти. Если бы только позволил мне *достать* до тебя!..

Она заплакала. Я заключил её в свои объятия. Но ровно ничего не почувствовал.

Я целовал её солёные слёзы и шептал-шептал не знаю что. Я чувствовал, как напрягается её тело, напрягается, чтобы соединиться с моим, чувствовал собственную скованность и желание освободиться и знал, что это начало долгого падения. Я отошёл от неё. Она мотнулась на том месте, где я держал её, как марионетка на нитках.

– Дэвид, пожалуйста, дай мне быть женщиной. Мне всё равно, что ты со мной сделаешь. Всё равно, какой ценой. Я отпущу длинные волосы, брошу курить, выброшу все книги.

Она попыталась улыбнуться. У меня защемило сердце.

– Только дай мне быть женщиной, владей мной. Больше мне ничего не нужно. Не нужно *ничего*. На остальное мне наплевать.

Она приблизилась ко мне. Я стоял неподвижно. Она коснулась меня, поднимая своё лицо ко мне с отчаянным и невероятно трогательным доверием.

– Не бросай меня обратно в море, Дэвид. Позволь мне остаться здесь, с тобой.

Потом она поцеловала меня, вглядываясь в моё лицо. Губы у меня были холодными. Я ничего ими не почувствовал. Она снова поцеловала меня, и я закрыл



глаза, чувствуя, как тяжёлые цепи тянут меня в огонь. Казалось, что моё тело никогда не проснётся от её тепла, её настойчивости, под её руками. Но когда оно проснулось, я вышел из него. С огромной высоты, где воздух вокруг меня был холоднее льда, я наблюдал своё тело в чьих-то объятиях.

В тот же вечер, или в один из ближайших вечеров, я оставил её спящей в спальне и поехал в Ниццу.

Я обошёл все бары этого сверкающего огнями города и под конец первого вечера, оглушённый выпитым и злой от похоти, поднялся по лестнице какого-то тёмного отеля в компании матроса. На следующий вечер оказалось, что увольнительная у матроса ещё не кончилась и что у матроса есть приятели. Мы отправились к ним. Остались там на ночь. Мы провели вместе следующий день и день после того. В последний его свободный вечер мы стояли вместе и пили у стойки многолюдного бара. Напротив было зеркало. Я был пьян в стельку. У меня не осталось почти ни гроша. И вдруг я увидел в зеркале лицо Хеллы. На мгновение мне показалось, что я спятил, и я повернулся. Она казалась очень усталой, погасшей и маленькой.

Довольно долго мы не произносили ни звука. Я чувствовал, что матрос вылутился на нас.

– Она, наверно, ошиблась баром? – сказал он наконец.

Хелла посмотрела на него. Улыбнулась.

– Я ошиблась не только в этом, – сказала она.

Тогда матрос уставился на меня.

– Ну вот, – сказал я Хелле, – теперь ты всё знаешь.

– Думаю, что знала это уже давно.

Она повернулась и хотела уйти. Я сделал движение ей вслед. Матрос схватил меня.

– Ты что?.. С ней?..

Я кивнул. Его лицо с открытым ртом было комично. Он отпустил меня, я отошёл, и когда подходил к дверям, услышал его хохот.

Мы долго шли по промозглым улицам в молчании. Казалось, все люди вымерли. Казалось немыслимым, что когда-нибудь рассветёт.

– Ладно, – сказала Хелла, – я возвращаюсь домой. Жаль, что вообще оттуда уехала.

– Если я останусь здесь ещё, – сказала она уже утром, укладывая в чемодан свои вещи, – я забуду окончательно, что такое быть женщиной.

Она была очень холодна и как-то горько красива.

– Не уверен, что существует женщина, которая *могла бы* это забыть, – сказал я.

– Есть такие, что забыли, что быть женщиной означает не только терпеть унижение и терпеть обиду. Я этого ещё не забыла, – добавила она, – вопреки тебе. И не собираюсь забывать. Я хочу убраться из этого дома и от тебя с такой скоростью, на какую только способны такси, поезда и корабли, уносящие меня.

В комнате, служившей нам поначалу спальней, она передвигалась с судорожной спешкой стремящегося скрыться – между раскрытым на кровати чемоданом, комодом и шкафом. Стоя в дверном проёме, я наблюдал за ней. Я стоял там так, как стоит перед учителем маленький мальчик, надувший в штаны. Все слова, что я хотел сказать, застревали репьями у меня в горле и не давали рту шевельнуться.

– Мне всё-таки хотелось бы, – выговорил я наконец, – чтобы ты поверила, что если я и лгал кому-то, то только *не тебе*.

Она повернулась ко мне с искажённым лицом.

– Но говорил-то ты *со мной*. И со мной тебе хотелось уехать в этот жуткий дом посреди глухомани. И на мне, как уверял, тебе хотелось жениться.

– Я хочу сказать, что лгал самому себе.  
– А, понимаю, – сказала Хелла. – Это, разумеется, всё объясняет.  
– Я просто хочу сказать, – прокричал я, – что если тебя чем-то обидел, то не хотел этого!

– Не ори. Я скоро уйду. Потом ты можешь кричать вон тем холмам или крестьянам о том, как ты виноват, как тебе нравится быть виноватым!

Она снова принялась двигаться взад-вперёд между чемоданом и комодом, но уже медленнее. Влажные волосы падали ей на лоб, и лицо было влажным. Мне страшно захотелось взять её в свои объятия, приголубить. Но это уже ничему бы не помогло, только продлило пытку для нас обоих.

Передвигаясь по комнате, она смотрела не на меня, но на вещи, которые укладывала, будто сомневаясь, что они её.

– Я ведь *знала*, – сказала она. – всё знала. Поэтому мне так горько. Я читала это в каждом твоём взгляде. Каждый раз, когда мы ложились в кровать. Если бы только ты *тогда* мне сказал правду. Неужели ты не понимаешь, как бессовестно было ждать, пока я *сама* всё узнаю? Обрушить эту тяжесть *на меня*? Я ведь *имела право* услышать это от тебя: женщина всегда ждёт, когда *мужчина* заговорит. Или ты об этом не слышал?

Я ничего не ответил.

– Я бы не торчала столько времени в *этом* доме. Не гадала бы теперь, как же, Господи, я выдержу это долгое возвращение. Я бы уже была дома и танцевала с каким-нибудь мужиком, который хотел бы меня поиметь. И я *дала бы* и ему. Почему бы и нет?

И она диковато улыбнулась на ворох капроновых чулок в своей руке, и аккуратно уложила их в чемодан.

– Может, я *сам* не понимал этого раньше. Знал только, что мне нужно бежать из комнаты Джованни.

– Ну вот ты и бежал. А теперь мой черёд. Один бедный Джованни – потерял голову.

Это была гадкая шутка, и сказано это было, чтобы меня ранить. Но язвительная улыбка ей плохо удалась.

– Мне никогда этого не понять, – сказала она после паузы, посмотрев мне в глаза так, будто я должен был помочь ей разобраться. – Этот мерзкий маленький бандит загубил твою жизнь. Думаю, что загубил и мою. Американцы не должны никогда приезжать в Европу, – промолвила она и попыталась засмеяться, но начала плакать, – потому что потом они уже никогда не будут счастливы. А какой толк в американце, если он несчастен? Счастье – это всё, что у нас было.

И, рыдая, она бросилась в мои объятия, в мои объятия в последний раз.

– Не думай так, – пробормотал я, – не надо. У нас есть гораздо больше, и всегда было гораздо больше. Только... только иногда это трудно вынести.

– Господи, как я хотела тебя, – сказала она. – Любой из тех, кого я встречу, будет напоминать мне о тебе.

Она снова попыталась засмеяться.

– Бедный человек! Бедные люди! Бедная я!

– Хелла! Хелла! Когда-нибудь, когда ты будешь счастлива, постарайся простить меня.

Она отстранилась.

– Эх... Да я больше ничего не смыслю в счастье. И ничего – в прощении. Но если женщинами должны управлять мужчины и если таких мужчин больше нет, то что же будет? Что же будет?

Она подошла к шкафу, сняла с вешалки своё пальто, потом порылась в сумочке, вынула пудреницу и, глядя в крошечное зеркальце, тщательно вытерла глаза и намазала губы помадой.

– Между маленькими мальчиками и маленькими девочками есть разница, как объясняют в этих маленьких голубеньких книжках. Маленькие девочки хотят маленьких мальчиков. А маленькие мальчики!..

Она захлопнула пудреницу.

– Сколько бы я ни жила, я уже никогда не узнаю, *чего* они хотят. Но знаю теперь, что сами они никогда мне скажут. Думаю, они не знают, как объяснить.

Она поправила волосы рукой, отбросила их со лба, и теперь, с напомаженными губами, в тёплом чёрном пальто, снова стала холодной, эффектной, ужасно беспомощной и до смерти испуганной женщиной.

– Налей мне чего-нибудь, – сказала она. – Мы можем выпить за старые добрые времена, пока не подъехало такси. Не надо провожать меня до станции. Я хотела бы пить всю дорогу до Парижа и всю дорогу через этот проклятый океан.

Мы выпили молча, ожидая услышать шорох гравия под колёсами. Потом услышали его, увидели фары, и таксист начал сигналить. Хелла поставила стакан, запахнула пальто и двинулась к двери. Я понёс за ней чемоданы. Мы с шофёром уложили их в багажник, и всё это время я старался придумать, что сказать ей на прощание, чтобы развеять горечь. Но мне ничего не приходило в голову. И она ничего не сказала. Совершенно прямая, она стояла под тёмным зимним небом и смотрела вдаль. И когда всё было готово, я повернулся к ней.

– Ты действительно не хочешь, чтобы я проводил тебя до станции, Хелла?

Она взглянула на меня и протянула руку.

– До свидания, Дэвид.

Я взял её руку в свою. Она была холодной и сухой, как её губы.

– До свидания, Хелла.

Она села в машину. Машина развернулась, потом выехала на дорогу. Я помахал рукой в последний раз, но Хелла не ответила.

\* \* \*

Горизонт в окне начинает светлеть, превращая серое небо в пурпурно-голубое.

Я уже собрал чемоданы, прибрал в доме. Ключи от дома лежат передо мной на столе. Мне осталось только переодеться. Когда рассветёт чуть больше, автобус, который отвезёт меня в город, на станцию, к поезду, который отвезёт меня в Париж, появится на повороте дороги. Но я всё ещё не могу двинуться с места.

На столе ещё лежит маленький голубой конверт с запиской от Жака, сообщающей мне о дне, когда будет казнён Джованни.

Я наливаю в стакан чуть-чуть виски и смотрю на своё отражение в окне, которое становится всё бледнее. Кажется, что я растворяюсь у себя на глазах; этот образ начинает меня забавлять, и я смеюсь про себя.

Теперь уже решётчатая дверь должна открыться перед Джованни и с лязгом захлопнуться за ним, чтобы никогда больше не открываться и не закрываться для него. А может, всё уже кончено. Или, возможно, только начинается. Может быть, он ещё сидит в камере, наблюдая – вместе со мной – за наступлением утра. Возможно, уже доносится шёпот из конца коридора, где трое крепких мужчин в чёрном разуваяются; у одного из них в руке большое кольцо с ключами; вся тюрьма замерла в ожидании, наполнилась ужасом. Тремя ярусами ниже кто-то бесшумно двигается по бетонному полу, останавливается, закуривает сигарету. Умрёт ли он один? Я не знаю, является ли в этой стране смерть одиночным или коллективным актом. И что он скажет исповеднику?

«Раздевайся, – раздаётся голос во мне, – уже поздно».

Я иду в спальню, где на кровати разложены вещи, которые я надену, а рядом – раскрытый, готовый чемодан. Начинаю раздеваться. В этой комнате есть зеркало, большое зеркало. Оно приковывает меня к себе.

Лицо Джованни качнулось передо мной, как неожиданная вспышка фонаря в тёмной-тёмной ночи. Его глаза... его глаза горят, как у тигра, они смотрят в упор, следя за приближением последнего врага, и волосы у него на теле встают дыбом. Не могу понять, что отражается в его глазах: если это страх, то я ещё никогда не видел страха, а если боль, то она ещё никогда не касалась меня своей рукой. И вот они подходят, вот поворачивается ключ в замочной скважине, вот они хватают его. Он кричит, но лишь раз. Они смотрят на него как бы издали. Они тянут его к двери камеры, коридор вытягивается перед ним, как кладбище его прошлого, тюремные стены кружатся вокруг него. Может быть, он начинает стонать, а может, не произносит ни звука. Путешествие начинается. Но возможно, крикнув сначала, он уже не замолкает, и может быть, его крик раздаётся сейчас, сотрясая все эти камни и железо. Я вижу, как подгибаются у него ноги, как обмякли бёдра и дрожат ягодицы, где начинает стучать невидимый молот. Он взмок или же сухой. Они тащат его или он идёт сам. У них ужасная хватка, и он не чувствует больше собственных рук.

По этому длинному коридору, по этим металлическим лестницам, в сердце тюрьмы и прочь от него, в комнату священника. Он опускается на колени. Горит свеча, Приснодева наблюдает за ним.

«Мария, благословенная мать Божия».

У меня самого липкие руки, а тело – онемелое, белое и сухое. Я вижу это в зеркале, уголком глаза.

«Мария, благословенная мать Божия».

Он целует распятие и цепляется за него. Священник мягко отводит от него крест. Потом они поднимают Джованни. Путешествие начинается. Они выходят, направляются к другой двери. Он стонет. Ему хочется сплюнуть, но во рту пересохло. Он не может попросить их подождать минуту, чтобы помочиться, – через минуту в этом не будет никакой нужды. Он знает, что за этой дверью, которая неумолимо приближается, ждёт лезвие. Эта дверь – те врата, которые он так долго искал, чтобы вырваться из этого грязного мира, из этого грязного тела.

«Уже поздно».

Тело в зеркале заставляет меня повернуться к нему. И я смотрю на своё тело, приговорённое к смерти. Оно худое, крепкое и холодное – воплощение тайны. Я не знаю, что в этом теле происходит, чего оно ищет. Оно заключено в это зеркало, как заключено во времени, и устремлено к откровению.

*Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое*<sup>76</sup>.

Я желаю, чтобы это пророчество осуществилось. Я желаю разбить это зеркало и стать свободным. Я смотрю на свой член, причиняющий мне столько забот, и думаю, как спасти его, как уберечь от лезвия. Путешествие к могиле уже началось, путешествие к разложению всегда, уже закончено наполовину. Но ключ моего спасения, который не спасёт тело, скрыт в моей плоти.

Теперь дверь перед ним. Мрак обступает его, нутро наливается молчанием. Потом дверь открывается, и он остаётся один, и весь мир откатывает от него прочь. Крошечный уголок неба, кажется, пронзительно кричит, хоть он и не слышит ни звука. Тогда земля опрокидывается, его бросают во тьму лицом вниз, и его путешествие начинается.

Я отхожу наконец от зеркала и прикрываю свою наготу, которую должен боготворить, хотя она ещё никогда не была мне так мерзка, и которая будет беспрестанно разъедать солью моей жизни. Я должен верить – верить, что только непреложное милосердие Божье, принесшее меня сюда, меня отсюда и вынесет.

И вот, наконец, я выхожу на утренний свет и закрываю за собой дверь. Я перехожу дорогу и бросаю ключи в почтовый ящик пожилой соседки. Я смотрю

<sup>76</sup> | Кор. 13.11.

на дорогу, где уже стоят люди, несколько мужчин и женщин, ожидающих первый автобус. Они очень живописны под сенью пробуждающегося неба, и горизонт за ними всё ярче воспламеняется. Утро взвешивает на моих плечах страшный груз надежды, и я вынимаю голубой конверт, присланный Жаком, и медленно рву его на мелкие клочки, наблюдая, как они танцуют на ветру, как ветер уносит их вдаль. Но, когда я поворачиваюсь и направляюсь к ожидающим людям, ветер приносит мне некоторые из них обратно.

КОНЕЦ